

М. Веллер

# ЗВОН ТЕНЕЙ



Михаил Веллер

**Звон теней**

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1  
ББК 84 (2Рос=Рус)6

**Веллер М. И.**

Звон теней / М. И. Веллер — «Издательство АСТ», 2018

ISBN 978-5-17-113322-1

**\*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВЕЛЛЕРОМ МИХАИЛОМ ИОСИФОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВЕЛЛЕРА МИХАИЛА ИОСИФОВИЧА.** Новая книга Михаила Веллера «Звон теней» открывается впервые публикуемыми повестями и рассказами «Легенда о кадете», «От Пушкина до Путина», «Рыдание аккорда» и других, заканчивается же автобиографической повестью «За слова ответишь». В книгу включены и прежние бестселлеры: «Ножик Сережи Довлатова», «Кухня и кулуары».

УДК 821.161.1  
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-113322-1

© Веллер М. И., 2018  
© Издательство АСТ, 2018

## Содержание

Жизнь сочинителя	5
Легенда о кадете	5
От Пушкина до Путина	19
Аккорд еще рыдает	25
Ножик Сережи Довлатова	25
Конец ознакомительного фрагмента.	55

# Михаил Веллер

## Звон теней

### Жизнь сочинителя

#### Легенда о кадете

##### Социальное происхождение

Его отец был выпущен после четырехмесячных курсов артиллерийским лейтенантом и в августе сорок четвертого командовал взводом сорокапятков. Вся его война состояла из одного выстрела в бою под Яссами. После этого немецкий танк уложил снаряд точно в его огневую, и лейтенант очнулся уже в госпитале.

Он лечился восемь месяцев и перед Победой был комиссован из армии по инвалидности.

А мать была из семьи раскулаченных и сосланных в голую казахстанскую степь. За полгода до ее шестнадцатилетия отец отдал дочери все семейные деньги, ей собрали лучшую одежду и отправили в город – устраиваться на работу. Чтобы через полгода, когда придет срок получать паспорт, она могла скрыть свое происхождение и не быть лишенкой – пораженной в правах. Иметь возможность жить где хочет и поступить в техникум или институт. Одна из всей большой семьи она получила высшее образование.

Вот в Алма-Ате девятнадцатилетний инвалид в лейтенантской форме и учительница, заочница пединститута, и познакомились. И поженились. И сняли каморку, и родился ребенок, и отец работал в мастерских, а мать закончила институт и получила прибавку к зарплате.

Отец хворал после ранений часто; он умер, когда сыну не было трех лет.

##### Ленинград

А Ленинград после блокады обезлюдел. И по всей стране открыли вербовку – городу нужны люди. Молодые, естественно – чтобы работали и не болели. А какие после войны люди? Мужиков нет. И девки потянулись в Ленинград – в строители и в телефонистки, на фабрики и заводы, вагоновожатые и учительницы. Они получали койку в общежитии и прописку от предприятия, и гордость грела их – ленинградок. Счастье большого города сияло им. Через сорок лет Ленинград станет печальным городом старух, и только в аптеках и молочных отделах гастрономов будет видно, сколько девчонок было здесь в послевоенные времена.

И вот сюда приехала учительница из Алма-Аты с трехлетним Алькой. И вскоре преподавала уже не в школе, а на вечерних курсах, потом в институте, и ей предлагали писать диссертацию, и она думала, как забрать к себе из Казахстана старую мать, уже одинокую. А сын ходил в детский сад.

А баба она была собой видная, молодая энергия лучилась, и чертики плясали в глазах. И вышла она замуж за хорошего, образованного и домовитого мужика.

У хорошего мужа обнаружилась только одна отрицательная черта: выпив, он норовил мордовать пасынка. Так-то еще сдерживался. Но пил часто. Это бы и не такой грех, где ж непьющего возьмешь, да после войны, да сама не девочка и с ребенком. Но Алька отчима,

тыловую крысу, возненавидел. За что и был регулярно лупцован. И стал кусаться и царапаться, а потом хватал кухонный нож или молоток.

С фингалами его не выпускали из дома, чтоб не позорил, но он ухитрялся сбежать, когда они уходили на работу, и являлся такой на уроки. Следовали вопросы, скандалы и порки. Отчим лупцевал все безжалостнее, и мальчик мрачно клялся, что всадит ему нож в печень или разобьет висок молотком. Мать плакала и в отчаянии обнимала обоих: она любила мужа и кляла свою долю.

После третьего класса Альку сдали в суворовское училище.

## Суворовец

Десятилетних мальчишек гоняли как солдат. Училище давало полную школьную программу, плюс военные дисциплины, плюс усиленная физическая подготовка, плюс строевая. Внешний вид, подворотнички, начищенная обувь и отбой-подъем по секундам. Командиры рот – майоры, начальник училища – генерал. Спартанский дух воспитания демонстрируют случаи типа:

Рота в столярных мастерских на занятиях по ручному труду. Командир роты, показывая работу с циркулярной пилой, отпиливает вместе с брусом указательный палец. Брызги крови, опилки, гудение пилы на холостом ходу, молчание. Командир, прижав рану платком, поднимает другой рукой отпиленный палец и, кратко им жестикулируя, отдает приказ:

– Я в санчасть. За меня – суворовец Стрижак. Продолжать занятия.

Занятия продолжают. Уважительный мат перемежается хохотом.

Труднее всего было с недосыпом. Что детскому организму при таком режиме нагрузок необходимо часов десять сна, никто не думал. Кормили прилично, содержали в чистоте и приучили этому на всю жизнь, а вот спать хотелось постоянно.

Тяжелее всего было перед парадами, особенно ноябрьскими, темной осенью. Поднимали в четыре ночи и гнали на Дворцовую репетировать. Шеренги часами отрабатывали равнение, парадные коробки били строевой шаг единой ножкой, ботинки сбивались о брусчатку.

Везением было, если репетиция приходилась на банный день. Тогда прямо с площади шли мыться. Горячая вода и яркий свет гнали усталость. Среди кадетских присказок была: «Помылся – как выпался».

Потом, 7 Ноября и 1 Мая, народ умилялся парадному расчету суворовцев, а дети с горделивым молодчеством чеканили шаг перед трибуной с представителями Партии и правительства. А кадетами они стали называть себя с самого начала, с создания училищ, с 43-го года, когда вернули в армию вместе с погонами слово «офицер».

...Тех, кто не тянул нагрузок, отчисляли. И таково было достоинство кадет, что когда в процессе хрущевских реформ пробовали заменить командиров взводов с офицеров в капитанских-майорских званиях на сержантов срочной службы – их в грош не ставили и подчиняться отказывались. Я прослужил пять лет, а ты, салага, полтора – ты что нюхал? ты кто такой? Да это я тебя службе учить буду!

«Открываем сезон охоты на сержантов!» И на головы несчастных летели груды снега, ведра с водой и табуреты на швабрах. Пацаны жестоки, и жестокой была их школа. Сержанты дергались, смирялись и искали мирных путей решения всех вопросов.

## Борец за мировой коммунизм

Ленинградское суворовское училище располагалось в бывшем Воронцовском дворце, за парковой решеткой на Садовой напротив Гостиного Двора. Сто лет до революции там был Пажеский корпус. А при советской власти – пехотная школа комсостава, она же позднее Ленин-

градское пехотное училище. Конкретно для нашей повести это означает, что богатую и специфическую библиотеку Пажеского корпуса в блокаду не сожгли. Приказа не было теми книгами отапливаться. Казенное имущество и значится по описи, материально ответственные лица отвечают согласно законов военного времени. Военная дисциплина для курсантов.

Ну, а поскольку в пажемском корпусе обучались господа дворяне, то библиотека была в основном на французском. Дворянском языке. Что также ее обезопасило, не вызвав интереса красных курсантов. Вот книги на русском были просмотрены и уничтожены согласно инструкции Надежды Константиновны Крупской, которая успела поруководить библиотеками, приводя их в соответствие с пролетарской идеологией.

Но мальчик Олег, суворовец Стрижак, отличался повышенной энергией и любознательностью. Застекленные дубовые шкафы вдоль коридоров уходили под потолок. Ряды и тысячи старинных книг остались музеем другого мира, и погасшее золото корешков проступало запретными тайнами. Ключи же от запертых дверей сгнули по причине ненужности в незапамятные времена.

Вот между шкафом и стеной пролезала детская рука, взятым в столярке ножиком подковыривался и отгибался фанерный задник, и тяжелый том в тисненном переплете выползал и перекочевывал за пазуху. Их роту, видите ли, в качестве иностранного учили французскому языку. Для общего аристократизма офицерского корпуса, был когда-то такой амбициозный замысел.

Суворовец Стрижак выучил французский сверх чайный преподавателей, и стал читать то, что выковыривалось с краев полок. Он не понимал ничего, и над ним посмеивались. Что было непереносимо. Для ясности – кличка у него в кадетке была «понтер». Упрямства и самолюбия мальчик был немереного.

Короче, к пятнадцати годам он осознал и усвоил Прудона, Штирнера и Бланки. Такой уж шкаф попался. И юный комсомолец Стрижак воспламенился идеями мировой справедливости. А это была эпоха романтической советской любви к революционной Кубе. Там, к сожалению, революция уже успешно закончилась. Но кое-где в мире борьба продолжалась! И следовало отдать все силы делу освобождения трудящихся всех стран! Вплоть до не щадя своей жизни, как и положено.

Но коммунисты всегда осуждали тактику индивидуальной борьбы и выступали за политику организованных движений. А в характеристиках суворовца Стрижака отмечались его волевой командный характер и организаторские способности.

## **Я хату покинул, пошел воевать**

И в пятнадцать лет воспитанник Стрижак был исключен из комсомола и отчислен с волчьим билетом из Суворовского училища за создание подпольной антисоветской террористической группы, нападение на дежурного офицера, нападение на дневального, взлом оружейной комнаты, кражу оружия, самовольное покидание территории части (училища) и переход на нелегальное положение – с целью: нелегально перейти финскую границу, вопреки действующим международным правовым нормам добраться без виз и билетов до Латинской Америки – и присоединиться в Боливии к партизанскому соединению Че Гевары, чтобы участвовать в войне за освобождение боливийских крестьян и насильственную смену государственного строя иностранного государства.

## **Реальность**

Их было пятеро – просвещенных и сагитированных зачинщиком. Ночью они заткнули рот дежурному майору, свалили и связали. Затем так же обезвредили дневального. Замок с ору-

жейки свинтили ножкой табурета, всунув ее в дужку. Забрали два «калашниковых» – учебных, с просверленными затворами. Лучших не было, а эти решили починить, заварить. А поскольку специально выждали для побега ночь потемней и дождливую – от дождя надо было как-то укрыться и пересидеть до света и суха.

Майор через пятнадцать минут распутался и поднял тревогу не боевую, а просто страшнее атомной. Двое суток ленинградское КГБ стояло на ушах и перерывало весь город. Группа профессионалов-автоматчиков в городе! – вы что, это же подарок по службе, рост карьеры, не зря хлеб едим, а то все думают, что нам после Сталина и делать уже нечего!

К концу вторых суток их взяли, сонных и пьяных, на квартире матери одного из пятерых. Дождь не кончался, идти было пока некуда, гражданской одеждой еще не разжились, а выпить и отдохнуть на воле хотелось. Ну и, по портвешку.

При Сталине их бы шлепнули. Старше четырнадцати. Но тут – недавно сняли Хрущева, либерализм, равенство, гуманизм. Кроме того – Министерство Обороны надавило на КГБ: не надо шума, товарищи особисты, вы что – хотите марать армию, ронять авторитет защитницы Родины? И Партия решила: наши суворовцы, комсомольцы, гордость, юная смена, да у нас вообще такого быть не может! Так что – тихо всем.

И дело спустили на тормозах. Ну, выгнали: идите гуляйте, засранцы.

## Юный гегемон

Возвращаться домой Альке было невозможно: он входил в силу и отчима убил бы в первый день. А брат хоть копейку от матери, которая поднимала двух дочерей, не позволяла гордость. Не для того он бежал из училища.

И вдвоем с товарищем по подвигам и несчастьям они устроились на кухню столовки – «ученик подсобного рабочего», то есть поломойка и судомойка. Тяжело, но не противней наряда по кухне, зато сыт. Сняли вдвоем каморку в полуподвале, жили. А перекаптовавшись и получив на шестнадцатилетие паспорта, отправились на завод: «ученик слесаря». А там скоро второй разряд и здоровенная для пацана, самостоятельная, взрослая зарплата.

Рабочий-металлист – это стеновой хребет пролетариата, и отношение к нему советской власти было поощрительное. Юного слесаря заботливо оформили в «вечернюю школу рабочей молодежи». А также привлекли к комсомольской работе. Бурное прошлое он скрывал, сказав, что был отчислен за неуспеваемость. И по новой вступил в комсомол.

В восемнадцать лет слесарь четвертого разряда Стрижак был комсоргом бригады, зарабатывал сто восемьдесят рублей в месяц – и окончил вечернюю школу с золотой медалью. Его фотография висела на Доске Почета.

Я больше никогда не слышал о выпускнике вечерней школы с золотой медалью.

## Карьера морехода

Он подал документы в Макаровскую мореходку, на судоводительский.

«Училище – это ты на всем готовом. Жилье, питание, одежда, койка с бельем. Да еще стипендия на карманные расходы. И система не военная – никто тебя так не дрючит, жить легче, в город выйти спокойно. А потом ты будешь штурманом и капитаном – увидишь мир, загранка, отдельная каюта. Да я мечтал об этом! Идеальный вариант».

При поступлении медалисту достаточно было сдать на отлично профильный экзамен. Алька с его золотой медалью сдал на пять математику, был зачислен и вселился в кубрик. Тяжелый период жизни кончился, и он прошел его с честью. Впереди была хорошая жизнь. Пока другие сдавали оставшиеся экзамены, он отсыпался, ел и гулял.

Это были счастливые четверо суток. На пятые сутки его вызвали к замначальника факультета по режиму.

За столом сидел человек в костюме, а на столе лежала раскрытая тонкая папка.

– Ты что же вздумал, Стрижак, – зловеще сказал он, – отчисление из суворовского училища – в автобиографии скрыл? Исключение из комсомола – скрыл? Создание вооруженной преступной группы – скрыл?! Нападение на офицера при исполнении им служебных обязанностей!! Побег!! Попытка перехода границы!! И после этого!.. в штурмана!.. капитаны!.. что, думал – замаскировался? как ты еще на свободе ходишь, ты же враг! доверять судно!.. за рубежами родины!..

В лицо вытянувшемуся курсанту полетели школьный аттестат, заводская характеристика, справки с печатями и без, бумажки порхали в урагане мата:

– Решил, что органы ничего не узнают?!

Через полчаса бывший курсант, в собственной одежде и со своим чемоданчиком, сдав казенное имущество и поставив где надо подписи, вышел на улицу, и ворота захлопнулись.

## Нокдаун

«Идти было некуда. Пошел я в свою комнату, еще хозяйкой не сданную. Запасные ключи я давно сделал и на всякий случай себе оставил. Купил пару бутылок, деньги еще оставались, выпил и лег на свой диван. Когда проснулся – пошел купил еще, выпил опять и лег на диван. А что делать?»

Но долго лежать не приходилось. Потому что деньги кончились, а платить за комнату надо договариваться, пока не выгнали.

Вернулся на завод. Особо там не расспрашивали. Не поступил и не поступил, кто там вникать будет.

И стал ждать призыва в армию. Хрен ли мне эта армия после кадетки. Пусть кормят».

## Флот

Здоровьем и силой бог не обидел, и в военкомате определили его на флот. «На флоте я отсыпался! Работать не надо, учиться не надо, жратвы хватает, служба фигня! А койка набита пробковой крошкой – оч-чень способствует качественному сну». Со своей медалью, характером и неоконченной кадеткой он тут же выслужился в старшины. Из которых был мгновенно разжалован за буйство и неподчинение непосредственному командованию.

Отсидел на губе, вышел, был надежен, как стальной двутавр, восстановлен в звании и должности старшины корабельных акустиков. Разжалован за буйство и неподчинение непосредственному командованию и определен к двум месяцам гауптвахты с оттяжкой решения насчет суда и двух лет дисбата.

На этой второй губе он понял службу. Вдруг стал по памяти переводить с французского Превера. Начал сочинять стихи. Продиктовал их под запись дневальному для корабельной стенгазеты. На словах (а относились к нему матросы хорошо, твердое наглое буйство льстило их классовому чувству) передал просьбу помполиту послать их во флотскую многотиражку. Из воспитательных соображений и демонстрируя собственные успехи в воспитании личного состава, помполит стихи послал; и сопровождал звонком и личной просьбой.

Стихи напечатали, и дважды разжалованный старшина второй статьи Стрижак прославился. Он написал благодарственное и покаянное письмо помполиту, которое тот хранил всю службу как высшее достижение своего воспитательского таланта. Отбыв заслуженное наказание, перековавшийся матрос взял на себя повышенные социалистические обязательства повысить классность и воспитать двух новых специалистов из молодых. Писал заметки в стенгазету,

стихи во флотскую многотирагу и выступал на комсомольских собраниях. Его снова восстановили в звании и приводили в пример.

Старшина первой уже статьи Стрижак выразил желание после службы продолжить учебу и поступить в институт. И отец родной помполит поспособствовал оформлению на заочные подготовительные курсы в Ленинградский университет. На журналистику. Как автора заметок и стихов.

Когда на учениях его акустики первыми засекали шумовую цель, а корабельная шлюпка, в экипаже которой он был левым загребным, победила на флотских гонках – ему предложили вступить в партию. По левому загребному, кто вдруг не знает, равняется в такт вся шестерка гребцов; тут нужна сила, резкость и чувство ритма. А насчет кандидата в партию он подумывал после тех шестидесяти суток.

## Журфак

Он ушел в запас главстаршиной, ушитая суконка в значках и широкая лычка поперек погона. И поступил на журналистику Университета. На заочный. Потому что надо было где-то работать, чтобы кормиться.

На работу его взяли в газету не Северного уже, где он служил, а Балтийского флота – «Страж Балтики». Он принес пачку вырезок и справку с журфака. Доказал класс за два месяца испытательного срока. И стал младшим корреспондентом. Без высшего образования – восемьдесят рублей ставка. Гонораров там не платили.

Студентом он был не совсем обычным. На заочном – не пять курсов, а шесть, обучение растянуто для людей работающих. Алька кончил шесть курсов за три года – по четыре сессии в год.

Его красный диплом мы обмывали шумно и весело – конец июня, белые ночи, бутылки не умещались на столе. В деканате он взял большую выписку – ведомость всех экзаменов за все годы – и прилепил на стену. А так. На нее брызгали водкой из стаканов – обмывали. Там было несколько столбцов пятерок – и ни одной другой отметки.

## Редактор

В «Страже Балтики» он стал полноправным корреспондентом, старшим корреспондентом, завотделом, выпускающим редактором и замредактора. И через два года ушел, умоляемый остаться и сопровождаемый небесной характеристикой. И такое бывало.

А стал он, молодой член партии, из рабочих, служил на флоте, образование неоконченное высшее журналистское университетское, русский, женатый уже к тому времени, – младшим редактором издательства «Лениздат». Историко-партийной редакции.

Сейчас уже не поймут, какое это было серьезное место, идеологическое, политическое. Партийные и военные мемуары тут просеивали, редактировали и издавали. И анкеты редакторов должны были соответствовать серьезности требований. Поэтому все анкеты были отличные, а большинство редакторов были полное дерьмо, ибо ни от кого нельзя ждать совершенства.

Так что пришелся им даже еще не двадцатипятилетний, юный, можно сказать, Олег Стрижак с анкетой чище горного снега ну исключительно ко двору. Работоспособен, энергичен, исполнительен, землю роет и план подготовки рукописей перевыполняет.

И тут он оказался для авторов Олег Всеволодович. И впервые ощутил уважение к себе не только подчиненных и корешей. Его книги отмечались как хорошо оформленные и в срок сданные, а на вручении издательству переходящего знамени он нес и держал его, как мужчина со строевой выправкой.

Потом он стал просто редактором, потом старшим редактором, а на столе у него стоял вымпел «Лучший редактор», и ему все еще не было тридцати. И контрастировал он всегда в коллективе свежестью и отглаженностью, выбритый до сияния, и стол был чист от бумаг, перед отходом он протирали его влажной тряпкой, плеснув из графина; и никогда я больше не видел, чтобы так же протирали телефонную трубку. «Она же сальная от ушей и рук, к ней прикасаться противно», – удивлялся он.

## Драматург

Он писал стихи, а потом принялся сочинять короткие пьесы. Одноактные. И носить их по театрам. Завлиты пьесы заворачивали, но автор шел вновь на таран. И ему насоветовали семинар молодых драматургов-одноактников при Ленинградском Союзе писателей. Он с ненавистью слушал комплименты звонким от глупости стильным дамам, читавшим свой бред про картофельные бурты и раскаленные заготовки: они познавали жизнь в домах творчества.

А потом был Всесоюзный семинар молодых драматургов, который решили устроить на Соловках. Характерный географический подтекст. И в первый день, представляя сонм юных дарований обществу, маститый и знаменитый тогда Игнатий Дворецкий возвещал:

– Это Андриуша Треполев. Автор прекрасной пьесы «Дикий табун». Это Эльвира Крутикова, очень перспективный наш молодой автор ряда чудесных произведений. Это Павел Венгеров, у него готовится к постановке водевиль в Театре комедии. Это Олег Стрижак, – Дворецкий положил коротенькую ручку на плечо сидящему в ряду прочих Стрижаку и на миг задумался... – Он бывший матрос.

Стрижак побледнел от унижения. Кто-то тихо хмыкнул.

Общий ужин после открытия состоялся в зале Соловецкого монастыря, и самым интересным в ужине был десерт. Употребив на десерт литр водки, в стороне от общей беседы, Стрижак задрал свитер, вытянул из брюк флотский ремень и намотал на кулак. Встал, посек воздух бляхой и сказал молодым драматургам все, что о них думает. Сказал он чистую правду, и не было в той правде ни одного печатного слова.

Самый крупный драматург мужского пола возразил. Его Стрижак погнал по монастырскому коридору первым. Коридор был длинный, а выход один и узкий, такая монастырская архитектура. Драматург бежал в конец и обратно, народ возмутился, и через два челночных пробега Стрижак гонял ремнем вдоль коридора уже весь семинар. Дворецкий вспомнил молодость и решил пресечь безобразие.

– Ну что, враг народа недодавленный, чмо лагерное, объяснить тебе разницу между матросом и главстаршиной, – процедил Стрижак ему в глазенки, но бить не стал. Бестактное напоминание о несчастьях молодости ошеломило Дворецкого.

Сосед по камере, то есть келье, в смысле комнате, тихий рассудительный эстонец, увел уставшего погромщика отдыхать.

– Теперь надо отдохнуть – справедливо рассудил он. Обнял за плечи и увел.

Семинар отдышался и стал громко негодовать.

А в комнате хозяйственный и аккуратный сосед-эстонец достал кофеварку, бутылку «Вана Таллина», налил кофе в чашечки, а ликер в рюмочки, и они выпили за здоровье. Закурили, он спросил, хочет ли Стрижак еще рюмочку, и выпили по второй.

«Третья рюмочка не предлагается!» – с ненавистью вспоминал Стрижак. Закрытая бутылка постояла на столе и вернулась в тумбочку.

А назавтра началось обсуждение пьес. Автор читал вслух свою рукопись. Остальные слушали. После вчерашнего банкета глаза у них закатывались, и тела кренились со стульев. Там была длинная история с особым приемом. Муж, жена, взрослые дети и сослуживцы спорили, выясняли в квартире отношения, смысл жизни и будущее страны. А за стенкой, в соседней

комнате, умирал человек, приезжали врачи – контрапунктом, изредка вставной кадр. В конце конфликт разрешился, и все стало хорошо. А вот неизвестный сосед умер. Такая неоднозначность жизни философская.

– Ну, кто хочет высказаться, товарищи? – очнулся от летаргии Дворецкий. Под глазом у него оказался синяк.

Стрижак встал и посмотрел на автора с мрачным вдохновением.

– Отличная пьеса, – сказал он. – Но можно еще лучше, и даже проще. Представьте: сцена. Посередине, под лампой – кровать. И на ней два часа умирает человек, вы понимаете – умирает он, это же трагедия! А за стеной два часа – вот вся эта мутотень!..

Больше его ни на какие драматургические сборища не приглашали.

### **Навигация: четыре темы**

Так называлась его первая книга. О флоте, на котором он служил, о корабле, о друзьях-старшинах одного призыва, о шлюпочных гонках на празднике Дня флота, об учебе в Лазаревских казармах Севастополя и холодном океане Севера.

На дворе стояла середина семидесятых, и куря как-то на скамейке Банковского садика, мы сказали друг другу:

– Мрачное эн-летие уже наступило...

До нас начинало доходить. Гайки были уже закручены. Пути перекрыты. Старики боролись за свое место у корыта. Молодых душили на корню. Все эти «Съезды молодых писателей» были боковым каналом, из которого стареющих молодых отводили от редакций и издательств и сливали потом в никуда.

Первую повесть из четырех, составляющих книгу, ему удалось напечатать в коллективном ежегодном сборнике «Молодой Ленинград». Пусть не целиком, но большой кусок. Места не хватало, желающие плакали и жаловались. При том, что Стрижак сам был редактором «Лен-издата», свой!

А потом книгу приняли, и поставили в план, и она выходила меньше трех лет – это было очень быстро, это было прекрасно, классики типа Гранина ждали выхода два года – то был генеральский уровень! И по семь лет выходили ведь книги, таково было плановое советское издательство.

А потом ему был назначен редактор. И прозвучала сакральная фраза, за которую их всех хотелось бить и гнать гнить пожизненно на осенние поля: «Ну, давайте работать над книгой!» Тупая, никчемная, усредненная во всем тварь среднего пола самоутверждалась.

Первым делом она категорически похерила название: мол, непонятно, неверно, четыре темы – это только в музыке. И просто слово «Навигация» тоже нельзя, это же не книга по морскому делу, должен быть эпитет, определение.

Человек, который пишет: «Барабанная дробь дрожала в ясных стеклах» – умеет писать. Текст был шлифован, стиль щеголеват. И мотать ему нервы, правя и требуя не «попьет водички из кранов» – о шатающемся ночью в тревожной бессоннице матросе, а из «крана»: «Олег! Ну при чем здесь множественное число? Это же неправильно!» – ей что, устройство корабля и расположение умывальников рассказывать, и сколько времени та бессонница продолжалась и шатания?

А право у советского писателя пред лицом редактора было только одно: забрать рукопись и уйти вон. Больше никаких прав не было. А редактору на автора было глубоко плевать, если только не начальство литературное. Прибежит, родимый, куда он денется, в затылок очередь жаждущих дышит.

И все-таки книга вышла. И было Стрижаку в те поры всего тридцать один год. Для семидесятых – мальчишка, выскочка, самородок.

И когда ему говорили друзья:

– Алька, ну все-таки очень она у тебя эта вся книжка советская, и главный герой твой Шурка этот Дунай такой вообще отличник боевой и политической подготовки. —

Он отвечал, светло улыбаясь:

– Дураки, верхом на Шурке Дунае я въеду в большую литературу, как на белом коне!

И добавлял:

– Не читали вы книг о современном флоте, не тонули в розовых соплях. Замполита на вас хорошего не было.

## КГБ

Ты мог не интересоваться КГБ, зато оно всегда интересовалось тобой.

Историко-партийная редакция «Лениздата» – объект очень идеологический. Там проходит и сортируется поток неоднозначной информации.

Ветераны войны с нездоровым умом и вывихнутой памятью несли мемуары, и за стаканом редакционного чая перевирали государственные тайны. Что в сорок первом году иногда сдавались целыми полками, строем и с развернутым знаменем. Что разведгруппа могла в полном составе уползти к немцам и сдать. Что в сорок пятом в Восточной Пруссии могли танком проехать по колонне беженцев, а немцы насильничали только так. Что СМЕРШ пытал и расстреливал невинных – а по тупости, по инструкции, или для примера – чтоб боялись. Валили это все из доверия, как своим, не для печати.

Так что редакторы, люди проверенные и советско-правильные, невольно проникались через излишнюю информацию некоторой излишней широтой взглядов. И начинали подумывать что не надо и почитать чего не велено. Наживали профессиональное двуличие.

Вот так Алька получил на прочтение «Зияющие высоты» Зиновьева, которые мы вместе читали у него на кухне и ржали от наслаждения. От него я получил на сутки «Лолиту» издательства УМКА-Press и «Архипелаг ГУЛАГ» на ночь.

Вскоре его и пригласили на Литейный побеседовать. Кто что говорит в редакции, да не носит ли кто книжечки антисоветские, да может кто из авторов придерживается в душе взглядов не наших? То есть стук был, но конкретики не предъявили.

Мы с его женой ждали дома. Он приехал сероватый и влажноватый, выпил стакан «Столичной» залпом, закурил и сказал:

– Ну что, – сказал он. – Все мы, конечно, здоровые ребята со стальными нервами, но когда доходит до дела, что я скажу. И улыбчивый такой парень сидит, ненамного меня старше. И все знают, суки! Такое ощущение, что стучат у нас все. Выпил я графин воды, выкурил пачку беломора, перебрал все варианты, что я буду делать, когда откинусь с зоны, больше пятерки за хранение и разговоры вряд ли дадут, и вышел через два часа в мокром пиджаке. Уж больно было неохота опять со дна подниматься. Даже бутылку взять сразу не сообразил, домой поехал.

Он выпил второй стакан, закурил и сказал:

– Так что я, герр лагерфюрер, и после второй не закусываю. Аппетита нет.

И только тогда мы начали ржать.

## Союз писателей

Сейчас союзов писателей много, и ни один на фиг никому не нужен. А при Советской власти это было ого-го. Ало-вишневые корочки с золотым гербом хранятся у меня на память, там подпись генерал-майора КГБ Юрия Верченко – второго, рабочего секретаря Союза писателей СССР.

Член Союза имел право нигде не работать, а стаж шел: он был официальный творческий деятель. Его рукописи лучше принимались в редакциях: официальный писатель, а не «самотек» с улицы, который отпинавали. Для него было издательство «Советский писатель» с отделениями в республиках и некоторых облцентрах. Прочие издательства тоже предпочитали исключительно их. У них были выше и гонорары. И таких членов было в Союзе 11000 человек.

Элита их – верхние две сотни в Москве, два десятка в Ленинграде и по полста в национальных республиках – процветали. Их переиздавали и оплачивали высшей ставкой не за качество книг, а согласно рангу. Они ездили за границу, жили в дачах-коттеджах, все это за казенный счет. И получали деньги за элитность: участие в разных комиссиях, членство в редакциях, поездки на совещания и прочая всевозможная хренотень.

Но главное – статус. Реноме. Престиж. Социальный уровень. Член Союза писателей – это был уровень генерала, профессора, директора, секретаря райкома партии. Не считая маститых – которые шли по уровню маршалов, министров и членов ЦК, типа Шолохова или Сергея Михалкова.

В 1934 году по приказу товарища Сталина этот Союз, фактическое министерство литературы, создали – и приняли туда кучу народу. Потом были отстрелы и лагеря, война, алкоголизм и болезни старости, кто дожил до старости. И к XX Съезду Партии, к хрущевской оттепели, письменников осталось на раз-два – а где молодежь? благодарная Никите за хорошую правильную жизнь?.. И с 56-го по 65-й гребли частым гребнем, по одной книге, да что книге – по двум рассказам принимали в Союз, бывало; случалось и по рукописи!

А в 70-е сработал «закон трамвая»: уже тесно, куда прете, закрывайте двери! Первая книга – к тридцати пяти, прием в Союз – к сорока.

С неопикуемой наглостью автор первой и единственной книги Олег Стрижак – русский, коммунист, из рабочих, редактор с грамотами и благодарностями, журналист, образование высшее университет, семейный, – подал заявление о приеме. Ему едва исполнился тридцать один год! Рано, товарищи! Анкета – это еще не все. Пусть поработает, проявит себя, выйдет вторая книга, тогда посмотрим. Поспешный успех может погубить молодой талант.

Но к тридцати одному году пообтершийся в жизни и присмотревшийся к писательской среде молодой талант отточился в деле цинично и зло. Уважаемых коллег он в грош не ставил, и мнения их в гробу видал. Книги нужных людей оказались продвигаемы в «Лениздате» быстрее очереди. С нужными людьми было пито. Нужным людям была вылита цистерна лести – правильной, грубой, в глаза. Связей и покровителей у него не было – одиночка, выскочка, гордец.

Со второго раза его через год приняли. И на всех совещаниях ставили это себе в заслугу: вот как мы работаем с молодыми, товарищи, растим юные дарования, продвигаем перспективных юношей.

Еще долго он был самым молодым в этом клубе старперов. Не считая одного секретарского сына.

## Рейс к свободе

Вступив в Союз, он занялся вступлением в Литфонд, а это не автоматически. Потому что Литфонд распределял конкретные блага – поездки, воспоможествования, дачи, а главное – писательские квартиры: это была площадка беспощадной внутривидовой борьбы. И вступив, стал выбивать квартиру.

С женой он расстался тяжело, все ее осуждали, дом держался на Альке, все делал он, статный сероглазый блондин с характером и талантом должен был жениться на кинозвезде; видимо, ему на всю жизнь не хватило материнской ласки в детстве.

Он скитался по углам и писал роман. И в конце концов выбил однокомнатную квартиру на Васинском, в Гавани.

И тогда он огляделся и перевел дух.

У него было собственное жилье – впервые в жизни. У него была книга и публикации в периодике. Удобная престижная работа. Он был член Союза писателей и Литфонда. Имел отличный послужной список и массу связей. И был он молод, здоров, распираем энергией и хорош собой. А на полке стояла рукопись романа. Она была собрана в десяток толстенных папок, а конец еще не виделся.

Он был аккуратен, к водке относился ровно и привычки сорить деньгами не мог иметь по жизни. На сберкнижке были деньги, а в редакции регулярные платные рецензии.

И он ушел с работы. Уволился. Имел право.

## **Хорошая жизнь**

Впервые в жизни он проснулся утром – и ему не надо было ни о чем заботиться и никуда идти. У него был свой дом. И деньги на жизнь. И положение в этой жизни. И возможность делать все, что угодно.

Кончался май, и он пошел на пляж. Дремал и жарился на солнце, пока не сторел. Дома заварил чай и сел вечером за письменный стол. И с наслаждением работал до утра, и лег спать утром, не заботясь о том, что днем идти на работу и по делам.

У него все было. Впервые в жизни. Все свое. Заслуженное и заработанное. И каждый день можно ничего не делать. И завтра. И через месяц. Никаких обязательств ни перед кем.

Это ошеломляло.

## **Роман**

Роман назывался «Мальчик». «– роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках...» Был он легкий, текуч, бесконечно извилист и прозрачен (так и хочется сказать: «как ледяной родник», но ведь банально будет) – но и одновременно глубок, нагружен, увесисто-мощен в своей глубине; ну в общем вы поняли, что я пытаюсь сказать. Кто не верит – легко заглянуть в Сеть.

Уже гремела Перестройка, приблизился конец Союза, взлетели миллионные тиражи, издателей интересовало белогвардейское, антисоветское, лагерное, а также модернистское и жестко демократическое. Стрижаковский роман никто не брал.

В журнале «Радуга», я жил тогда в Таллине, я напечатал три отрывка из него. Больше не позволял наш крошечный объем.

...Книгу выпустил «Лениздат» и только в 1993 году – году раздрызганном, голодном, жутком и растерянном. И ее заметили, отметили, оценили высоко, и с колес перевели на французский, и она получила премию «Литературного салона Бордо», и второе место на международном конкурсе Медичи; и приглашенный во Францию автор пожал свой урожай лавров, признания, похвал.

Это была лишь первая книга романа из задуманных и организованных шести. И было Олегу сорок два года, и стоял он на вершине; путь был открыт, ход набран, и сил было много.

## **Конец**

Ему было сорок два – акме, возраст вершины, встреча еще молодой энергии с уже зрелой мудростью.

И у него было все. И венцом этого всего – возможность не делать ничего. И жить, и быть собой: наработанное положение, имя и статус были как шатер с флажком на куполе. Или призрачная сфера.

И тогда в нем – неожиданно и неощутимо – оказалась сломана пружина. Вялая, бессильная, отсутствующая... И перестал работать взрыватель; не вспыхивал порох; туго сжатый пар не толкал поршни.

Веселая, неукротимая, жадная, злая жажда жизни – постепенно и тихо перестала быть. Словно вышел воздух и медленно тускнел и гас в нем былой огонь. Он вдруг стал толстеть, тучнеть, грубеть, тяжелеть. И год за годом веселье оставляло его, он мрачнел, его независимость переходила в нелюдимость.

Обнаружились болезни и стали одолевать, невроз разрушал все планы, одолевала бессонница, приходилось лечить сердце, усугублял все болячки диабет.

Изнуряла бедность. Он, всегда умевший заработать и гордившийся этим, любивший зарабатывать деньги и готовый к любому труду – стал жаловаться на вечное безденежье.

Членство в распавшемся Союзе писателей и погоревшем Литфонде перестали что-либо значить, оплаты рецензий не хватало на батон, анкетные данные стали пустым местом. Инфляция съела не деньги, а все ценности жизни, ее победы и смысл. Хозяевами мира были бандиты и бизнесмены, русскими книгами издатели не интересовались.

Его путь наверх был покорением горы, на которую не взойдешь дважды. И вот на этой вершине свобода оказалась пустырем при разбитом корыте.

О, в мутной воде девяностых он мог сделать состояние, создать свое издательство и разбогатеть, раскрутить любой бизнес и подняться в любой карьере. Ему хватало умения, характера, уверенности в себе, хватки. Но силы кончились. Он прошел всю дистанцию в высоком темпе и выиграл забег – но начать новый уже не мог. Отпущенный ему заряд энергии и стойкости жизнь уже съела.

Конечно, психоневропатолог классифицирует это как депрессию и назначит лечение: медикаментозная схема, режим, спорт и оптимистические развлечения. И будет прав. Ибо депрессивное состояние есть болезнь.

Но есть одна вещь, мешающая избавиться от депрессии. Синдром достигнутой цели в сочетании с разрушением жизненной ориентации. То есть ты получил в этом мире все, чего хотел, но этот мир рухнул, и твоя жизнь больше никому не нужна, а ты уже израсходовался. Возраст, энергия, нервы, здоровье – уже не те. И цена успеху не та. И тебе не та цена. И сам уже не тот.

Один мой знакомый сказал гораздо проще:

– Надорвался.

Я часто вспоминаю рассказ Джека Лондона «Отступник». Про мальчика из бедной семьи, тяжело и старательно трудившегося на заводе с раннего детства, кормилец братьев-сестер и опора матери. В шестнадцать лет, изнуренный и изуродованный трудом, потеряв все чувства от отупляющей усталости, он ушел в бродяги. Он мечтал о сказочном счастье ничего не делать и отдыхать сколько хочешь. «Поезд тронулся. Джонни лежал в темноте и улыбался».

## Что потом

Он уже не имел сил и напора продолжать и закончить роман. И любые попытки помочь, пристроить, издать отметал с большим раздражением, разговоры эти были ему неприятны. Обреченно возражая, что все равно ничего не будет, что никому ничего не нужно, что пустые это все разговоры, и он просит их прекратить, зря не травить ему душу.

...Так прошло двадцать пять лет. За эти четверть века он выпустил брошюру о Балтийском подплаве, статью об организации Октябрьского переворота царскими генералами и два очень тонких сборника стихов.

Он хлопотал о пенсии, у него не было компьютера, не было приличной одежды, он категорически отвергал любую помощь, подолгу не выходил из дома, не хотел видеть даже друзей по кадетке.

Он умер в шестьдесят семь неполных лет. Время спустя был найден в пустой квартире. И похоронен на Серафимовском кладбище.

## **Я помню**

Я помню, как он свистит под моим окном во дворе на улице Желябова и поднимается по лестнице – в отутюженных бежевых брюках, снежно-белой гипюровой рубашке, в темных очках, с бутылкой в редакторском портфеле. Как мы курим на скамейке в Летнем саду и знакомимся с девчонками. Как в четвертом часу ночи, допив энную бутылку, он извлекает из парфюмерного набора жены модный одеколон сезона «Горная лаванда», я разливаю его в две чашки, сую в свою палец и душусь, и этот мерзавец сует свой палец в мою же чашку, и мы ржем и допиваем этот дижестив. У нас была хорошая совместимость – никогда не пьянели, если пили вместе.

Как он шлепает на стол «Молодой Ленинград» и гордо предъявляет сто девяносто рублей гонорара. Как приезжает к нему в гости из Краснодара сослуживец Ваня, здоровенный бугай, и уважительно говорит: «Алька у нас на шлюпке левым загребным был», – чего я раньше и не знал.

И беломор, и коричневое пальто с меховым воротником, и как 9 Мая мы встаем и он говорит: ну, за наших отцов.

## **О времени, месте и поколении**

В молодости видишь только детали, а с возрастом они все больше собираются в пазл. Жизнь он называется. Или даже история.

Мы оба с ним принадлежали к поколению, о котором я тридцать лет назад, на излете Советского Союза, написал «Дети победителей». Мы оба вошли в жизнь в начале семидесятых – как мордой в дверь.

В Ленинграде была своя литературно-андеграундная тусовка, из которой помнят сейчас Наймана, Рейна, Довлатова, Лену Шварц. Юру Гальперина забыли, Витю Кривулина помнит только литературный круг, Монастырский был человек специфический, Боря Дышленко исчез с горизонтов. Ну, Сайгон – это отдельная летопись.

Вот всех групп и Алька, и я чуждались. Не то главное, что из всей культуры там воспринимался исключительно Серебряный век и гонимые советской властью. Групповой код-ограничитель. Но было там нечто морально ущербное. Там (имманентно, сказал бы я в философском анализе) присутствовала некая непомытость, непостиранность, неопрятность, некрасивость в пьянке и убранстве, впечатанная второсортность в дружбе и сексе. Там не могло быть подвигов во имя любви красавицы, и красавицы быть не могло, и заступиться в мужской драке там тоже быть не могло. Там бездарно спивались, бездарно трахались, и говорили друг другу, что они гении. Неинтересно. Не ярко. Без куража. Не было этого: «С весельем и отвагой!»

Мы оба полагали: хочешь писать – пиши. А когда печататься настолько трудно, а в литературе уже было столько гениев – писать имеет смысл только предельно хорошо, на грани, на износ, любой ценой. А богемная неопрятность и бессмысленная атрибутика – это для комплек-

сующих неполноценностью. Достоинство профессионала – отсутствие внешних указателей. На понтах только дешевка. Будь обычен с виду.

И никогда не ной! Не жалуйся ни по какому поводу. Никто не смеет тебе сочувствовать. Никто, никогда, ни в каких условиях не может сделать тебя несчастным. Не озлобит, не сломает, не сделает жалким.

Ты нищ? Но на людях должен распространять небрежное благополучие. Тебя прижало? Всем должно быть видно – все тебе по фигу.

Таковыми мы и были в те семидесятые ленинградские годы. Чем озлобляли ревнивых коллег.

У меня в голове иногда звучат сами собой старые детские стихи: «Чайки кружились у них за кормой. Чайки вернулись домой. Но не вернулись домой корабли – те, что на север ушли. Только один мореход уцелел. Был он отважен и смел. Шхуну доверив движению льдин, цели достиг он один. Он и донес, тот отважный пловец, весть до родных своих мест: повесть про сказочный остров Удрест, пристань отважных сердец».

Мы не вернемся в дом нашей юности – семидесятые годы, но и не уйдем из него. Он был прекрасен, потому что юность, и его красота была внутри нас самих. И он был жестоко туп, стремление жить в нем походило на тот самый заплыв в серной кислоте. Это он съел и убил Высоцкого и Трифонова, вышвырнул Солженицына и Аксенова, замуровал страну гипсом. Ну и нам перепало.

Противостоять ему было так трудно, ребята, так трудно. Вот андеграунд и пил, и опускался в депрессии, и умирал раньше срока – а все-таки работал! А все-таки зад не лизали, и гимны коммунизму не писали, и делали свое всей силой, отпущенной Богом. Многие – с переломленным хребтом, не вынесшим давления эпохи.

А есть другой вариант держаться и делать свое. Никому не показывая слабость и боль. Смеясь и процветая назло судьбе, начальству и политическому строю. Но спину держать прямой! Вот только под непереносимыми нагрузками в спине этой крошится и непоправимо разрушается позвоночник. И предел наступает сразу, непоправимо, со стороны неожиданно. Спина еще пряма – а нести уже нет мочи даже тяжесть куска хлеба. Собственной головы.

И по завершении земного пути судьба друга моего яснее как судьба времени, эпохи, страны, поколения. Судьба борца, таланта, романтика, гордеца и человека, который сам себя сделал. Судьба советского писателя послевоенного поколения, ленинградца, не вписавшегося в постсоветскую Россию. Слишком яркого и самолюбивого, чтобы вливаться в любую стаю. Но воздух для него был тот же, и груз тот же, и причины судьбы те же.

Да, высказывалось мнение, что под конец жизни он впал в андеграунд – только одинокий, нищий и непримиримый ко всему. Необычная очередность этапов жизни.

Мраморный памятник на его могиле простой – лежащая книга.

## От Пушкина до Путина

1. Однажды в журнале «Русский пионер» Дмитрий Быков опубликовал маленькую статью о Довлатове. Вызвавшую большой скандал. Статья выбивалась из хора отсутствием должного восторга. В ней упоминались обыватели с их вкусом, не первый ряд литературы и скромные литературные достоинства. Литературная, да и околотитературная общественность совокупно с читательской сочли это оскорблением. Волна вскипела, и раздражающую статью убрали с сайта журнала.

Понимание явления начинается с правильной постановки вопроса. Постановка была: как он смеет возводить поклеп на нашего любимого писателя?! Но истина требует и постановки вопроса с другой стороны:

С чего вы взяли, что ваша эстетическая оценка есть не просто истина в последней инстанции, но и обладает значимостью моральной максимы? И – почему вы с такой непримиримой категоричностью требуете единомыслия и единовкусия от несогласных? Почему иная точка зрения для вас оскорбительна?

Читатели Довлатова – люди как правило сравнительно образованные, читающие, сколько-то думающие и культурные. Они не в восторге от правительства, ругают телевизионное зомбирование, и вообще образ мыслей имеют во многом критический и даже местами оппозиционный. Они благородно поминают приписываемую Вольтеру фразу: «Я не согласен с тем, что вы говорите, но готов бороться насмерть за ваше право говорить это».

Но!.. Фраза эта вложена англичанкой в уста француза. У них своя история. А мы здесь все русские с непредсказуемым коктейлем в крови. У нас парламент не место для дискуссий.

То есть вы понимаете: как ты смеешь говорить, будто тебе не нравится то, что нравится нам! Мужик – ты меня уважаешь? Что – не уважаешь? Не так я говорю? Не согласен со мной?

Ты не можешь быть оппонентом. Тебя лишают право выбора! За тебя уже решено – что хорошо и что плохо. Что должно нравиться, а что не должно. И если ты против устоявшегося мнения уважаемых людей и большинства – ты не просто глуп, особенно если доказал, что не глуп. Ты враг. Да-да – именно враг! А вы как думали?

Враг эстетический. Враг интеллектуальный. Но через то – враг моральный и общественный. Ты плюнул на то, что мы любим и признали нашим дорогим достоянием. Ты достал нас лично. Это больше, чем эстетическое разногласие.

Внимание. Любимый объект искусства служит солидаризации группы и сакрализуется. Над эстетической значимостью надстраивается социопсихологическая: объект становится знаком в социокультурном пространстве, его оценка – маркером «свой – чужой».

А если я не люблю Чайковского, Репина и Гоголя? Урод и чужой? А если люблю Прокофьева, Григорьева и Лермонтова? Скостить обвиняемому полсрока по смягчающим обстоятельствам?

Дамы и господа – а ведь у вас тоталитарное мышление. Тоталитарное мировоззрение и мироотношение. Вы нетерпимы и категоричны. Вы воспринимаете инакомыслие – со знаком минус, и не только в умственной, но порочное и в моральной плоскости. И уж подавно не воспринимаете оппонента как равного в праве на собственное мнение.

И никакие вы не либералы, и не демократы, и уж подавно не интеллигенты. Вы ведь признаете две точки зрения: свою и неправильную. Это КГБ-лайт. Инакомыслие как скверна.

(Ага. Я освобождаю вас от химеры, именуемой правом на критику. Критика – это обсуждение достоинств в борьбе хорошего с лучшим. Круг допустимых оценок очерчен заранее. Оценка за рамками предусмотренного – нарушение приличий и правил, очернительство, плевок. В лучшем случае – провокация и эпатаж.)

Вот один интеллеktуал-прихлебатель в Петербурге на вопрос о качестве прозы Довлатова ответил исчерпывающе: «Довлатов классик. И точка!» И не о чем спорить и судить.

**2.** Слушайте. Есть Десять Заповедей. Есть ценности вечные и базовые: честность, доброта, трудолюбие, храбрость, верность. Есть вещи абсолютно недопустимые: бить детей, обкрадывать нищих, предавать родину. Но где, черт возьми, сказано, что такого-то писателя (поэта, художника, композитора) необходимо любить, иначе это плохо? Что это за Список Обязательных Любимых? Что это за морально-эстетический диктат: или тебе это нравится – или ты плохой?

... Вот эта тяга к единообразию мыслей и вкусов – она изначально не насаждается сверху. Она рождается из психологии масс – и уже потом поднимается на уровень государственной пропаганды. Все должны думать как я, потому что так думаем мы все (не все так многие), все разумные нормальные люди. И понятно же: то, что нравится нам и нами признано хорошим – оно и есть хорошее, и должно нравиться всем нормальным людям. А прочие – выродки. Ну, хотя бы частичные выродки, ну, слегка вывихнутые – раз они не понимают того, что понятно нам всем.

Традиция и ее единообразное соблюдение обеспечивает устойчивость социума. Потребность в единообразии мнений – это аспект социального инстинкта, присущего человеку. Но. Важно! —

В современном обществе размытых моральных и политических критериев, в обществе толерантности и ценностного релятивизма – этот социальный инстинкт единообразия мнений принимает дикие порой формы. Типа: абсолютный запрет курения везде, или обязательное одобрение гомосексуализма, или защита антибелого расизма как достоинства. Ибо – людям необходимы общие точки зрения, чтобы социум не рассыпался в аморфную массу!

В России, где авторитарность и цензура были всегда – сфера литературы есть та область, в которой инстинкты народа (через образованный его слой) проявлялись в области идеального, не вещественного, конкретно строить не опасного. Отношение к литературе заменяло образованным русским политическую и социальную самостоятельность. Служило игровой формой свободы мысли. В виртуальной действительности сублимировали и кипели настоящие страсти. Литература в России была игрой в жизнь больше, чем где-либо на Западе.

**3.** И вот в этой игре мы проявляли свою тоталитарную сущность.

Характерна реакция на выход «Эпистолярного романа с Игорем Ефимовым». Ефимов посмел опубликовать переписку со своим старинным другом Довлатовым. Не везде там Довлатов предстает в лучшем свете. Образ являет и злословие, и мелочность, и массу разъедающих жизнь черт. Без пьедестала.

Как посмел Ефимов сделать такую подлость, попытаться приволочь в литературу грязь! – был приговор. Это против воли вдовы, это моральное падение!

Не было только одного аргумента: что это неправда. Нет, это все правда. Причем: никаких интимных подробностей личной жизни, никаких скандалов и пьяных безобразий – ничего, что можно было бы назвать «компроматом», там не было. Ничего неприличного или непристойного, ничего тайного или подсудного. Так, отношения с людьми и суетные детали литературно-эмигрантской жизни.

Но! Было сочтено, что это попытка замарать и принизить высокий и светлый образ писателя! И никого не волновало, что последние письма – это итоговая исповедь и автопортрет несчастного человека, ощущавшего себя неудачником с тяжелой жизнью, что в этих последних письмах Довлатов открывается умнее, печальнее и беззащитнее, чем в своих рассказах; глубже, значительнее и человечнее он тут являет себя.

Однако вывод прост. Нам не нужна правда, которая нам не нравится. Которая представляется нам лишней и искажает тот образ, который мы себе уже создали. Мы сами определяем, какая правда желательна, а какая недопустима.

То есть. Речь о честности, объективности и терпимости не идет. А имеет место желание заклеить и заткнуть ту правду, которая не вписывается в нашу информационную модель явления. Эта правда нарушает нашу картину мира, задевает наши групповые интересы (эстетические, интеллектуальные, психологические). Открывающего такую правду – осудить и по возможности нейтрализовать.

Так чем вы отличаетесь от Кремля и Федерального телевидения? У вас цели разные, а метода одна: инакомыслие осудить, заклеить и воспретить.

**4.** Но любовь к литературе и истине влечет нас к сияющей вершине.

Пушкин! Наше все! Недостигаемый гений.

Любовь к Пушкину вменена в моральный и патриотический долг. Это главнейший в русской культуре маркер «свой – чужой». Единообразие поклонения Пушкину может различаться лишь оттенками восторга.

Нелюбовь к Пушкину – это моральная и почти государственная измена. Это постыдно и подлежит суровому презрению и осуждению товарищей, рука которых пусть покарает меня. Признающийся в нелюбви к Пушкину, пусть частичной и в чем-то, совершает каминг-аут, переходящий в аутодафе.

Кто такой ОН – и кто такой ты?! Кто ты, чтобы судить Гения нашей литературы? Как ты вообще смеешь? Да для тебя не то что авторитетов нет – для тебя вообще ничего святого нет. Ты мразь. Тебе надо запачкать самое светлое, что людям дорого, что все любят, что во всем мире признано как высочайшая вершина литературы, двести лет все изучают, народный праздник в день рождения Пушкина, конференции всемирные, – а ты что?..

Так. Я уже согласен. У меня остался только один вопрос. Маленький и личный. Имеет ли право человек на собственное мнение? Если это мнение не призывает к насилию, воровству, лжи, разврату? Если это мнение по отвлеченному, теоретическому вопросу?

И выясняется, что любовь и преклонение перед Пушкиным – категорический императив русского социокультурного пространства.

**5.** Вот в школе начинают проходить Пушкина. Учитель дает установку: кто это такой и как мы к нему относимся. В этом отношении никаких сомнений нет и быть не может: Пушкин самый великий. А Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает в Каспийское море, фрукт – яблоко, лайнер – серебристый, зверь – волк, поэт – Пушкин.

В школьном преподавании вообще и Пушкина в частности – есть одна принципиальная черта: непререкаемость. Она же категоричность. Все, что совершил Пушкин в литературе и жизни – прекрасно. Любимый друзьями и женщинами. Сей ветреник блестящий, все под пером своим шутя животворящий.

Школа целенаправленно формирует у детей культ Пушкина. Поклонение этому культу есть естественное состояние всякого культурного русского человека и патриота. Этот культ благ, бесспорен, непререкаем.

Пушкин – это хорошо и даже прекрасно.

А вот культ – это плохо. И всегда чревато. С Пушкиным школа внедряет единомыслие. Инакомыслие школьника насчет абсолютной гениальности и идеальности Пушкина – не допускается, даже не подразумевается как возможное. То есть: самостоятельное мнение запрещено. Предписанное мнение обязательно.

**6.** Единомыслие и конформизм, культ обожествляемой личности – не может существовать в сознании сам по себе, но неизбежно входит в систему представлений об устройстве мира и отношении к нему.

Единомыслие и приятие культа личности – становится одним из важных принципов мировоззрения: есть отдельные гении, великие люди, вознесенные над общей массой, и значимость их непререкаема. Это – что? Это важная мировоззренческая модель в социальной пси-

хологии. Великий стоит над всеми и вне критики – это хорошо и нормально. Устроенный так мир – правильный. Тот, кто это понимает и признает – хороший, правильный человек.

**7.** Что было вначале: царь или царизм? Яйцо или курица? Царь присвоил трон силой и внушил всем правильность такого положения – или представление людей о наилучшем и правильном устройстве общества возвело избранника на царство? Э, – это две сферы проявления единого сущего, сказал бы Плотин и многие философы еще.

Германские ярлы нагнули под себя племена славянские, а также финно-угорские и прочие.

Принятие Великим Князем христианства на Руси было величайшим актом внедрения культурно-государственного единомыслия.

Монголы сделали Московию и окрестности организованным улусом величайшего мирового государства – где безоговорочное подчинение приказу начальства было не просто законом, но моральным императивом.

Иван Грозный, объявив себя наследником Орды, довел культ начальника до безумного кровавого абсолюта – внушая при этом законность и благость своих дел.

Романовское самодержавие категорически отметало любые поползновения ограничить власть самодержца – пока не стало поздно.

Реформаторы взяли власть, революционеры ее у них отобрали, большевики передушили всех прочих революционеров – и начался самый страшный кошмар России во всей ее истории. Под лозунгами свободы!

Парадокс в том, что даже воспевание свободы и борьба за нее носили тоталитарный характер морального императива.

**8.** Дамы и господа. Всем ли давно понятно, что от переименования князя, царя, генсека и президента модель государственного самоуправления народа не меняется?

Русскому народу свойственно, будучи предоставленным самому себе при падении твердой власти, быстро расслаиваться, структурируясь в жадное, сильное, беспринципное меньшинство сверху – и бесправное, слабое, работающее и подчиненное большинство внизу. Верхнее меньшинство обирает нижнее большинство, не ограничиваясь законами, но только в меру своих возможностей.

Но при этом! В народе живет потребность – даже на всех этапах реформ! – возносить лидера над собой. Хоть Ельцина, хоть Путина, хоть черта в ступе. Возлагать на него надежды, делегировать полномочия и буйно или безропотно ждать действий по улучшению своей жизни.

Над Брежневым смеялись! – но все приближенные лизали тупо, журналисты матерились и плакали, но возносили, острили и ругались – а портреты на демонстрациях несли. Не верили? А в Ленина – «самого человеческого человека» – верили? Как верили в Сталина! Сажал и стрелял? А вот возвращались из лагерей – и среди них тоже верили.

**9.** Социальный инстинкт повелевает человеку организовываться с окружающими в самые рациональные (с точки зрения дел и свершений) социумы – от бригады до государства.

При этом необходимо понимать и учитывать. Сильные и вооруженные организовываются не так, как слабые и безоружные. Трудолюбивые и храбрые – не так, как ленивые и трусливые. Рабы – не так, как свободные.

Либерал-социалистические бредни об универсализме политико-экономических моделей в любом этносе, при равных внешних условиях – это агрессивная идеология новых коммунистов, еще не прошедших через собственные концлагеря.

Качество бетона зависит от марки цемента и количества песка.

Только свободные люди могут построить свободное общество. Ну, более или менее реально демократическое государство, справедливо устроенное к удобству и благу трудящегося большинства.

Но! Для свободных людей – культов не существует! Кроме Всевышнего, Заповедей и моральных основ общества. Свободный человек отвечает за себя сам. За свои поступки, свои ценности, свои мысли и чувства.

Без свободы мысли никакое справедливое, продвинутое, процветающее, счастливое общество – невозможно.

**10.** И если кому в России не нравится культ Президента, сопутствующий бедности народа, произволу и отсутствию перспектив – вспомните, что если человек полагает вообще-то чей-то культ нормальным и хорошим делом, то с этим представлением о принципиальной правильности культа он Пушкиным не ограничится.

Вы ему только внушите, что есть прекрасные и правильные кумиры выше критики и сомнений. И уж он вам кумиров наставит, наплачетесь.

**11.** Вы ведь врете ему в школе о литературе той эпохи – где на деле недостижимо выше прочих почитался в заслугах великий Карамзин; где воспитатель царских детей и академик Жуковский парил на таком заоблачном Олимпе поэтической славы, что мог комплиментарно писать молодому Пушкину о лаврах первого поэта России; где самым знаменитым писателем и журналистом был Булгарин, а за ним Загоскин; и никакой народ у подъезда раненого Пушкина не толпился, тиражи Пушкина были одна тысяча экземпляров, а книги стоили жутко дорого, только для состоятельных людей, народ если и читал, так Матвея Комарова, а о Пушкине знать не знал, светская жизнь для него была другая Вселенная; вы создаете миф, условно идеализированную информационную модель Пушкина, отсекая одно и приписывая другое.

**12.** Культ личности Начальника Страны создается по тем же лекалам. И не в том беда, что услужливыми подручными и холопами создается. А в том беда, что культ создаваемый – востребован! Русскому народу нужен царь! Свежая максима, да? Нет, не всем и не в равной степени. Но! Не только историей сформирован народ, взыскующий сильной руки.

Этот народ воспитан нашей прекрасной школой, нашими замечательными учителями литературы, нашими доходчивыми учебниками.

Прошу понять. Пушкин тут – это прекрасная золотая фигура. А культ личности – сквозной арматурный штырь, упрятанный внутрь, как несущий стержень всей информации. Нанизанная на этот культ, как на шампур, фигура информации держится цельной, логичной, красивой, мощной. Но!!! Когда человек поворачивается к другим проблемам жизни и фигурам пейзажа – фигура слетает, как листва, а стержень остается! Потому что стержень этот – мировоззренческий принцип. Уж не о Пушкине судят – а все чертеж кумира наложен на пространство.

И когда я слышу, как со слезами в горле и на глазах, умиленные святостью своего чувства до нервного приступа и религиозного экстаза, поклонники и фанаты полируют слоем елеса Пушкина как образ Нашего Всего – меня охватывает безнадежность.

**13.** Поклонение Богочеловеку Пушкину сравнимо только с поклонением Сталину времен культа: нерассуждающий экстатический восторг. Не повод задуматься?

**14.** Потому что если в людях сильна потребность в кумире и поклонении ему – они себе кумира устроят, и уж он-то их потребность удовлетворит.

И если они не допускают, что свобода мысли необходима, что незыблемых утверждений нет – будет им научный прорыв. Сейчас. Только по приказу генсека! А так – давить всех умников. Вот и давят, всю историю.

И если свобода слова, когда истина не совпадает с их убеждениями, их оскорбляет и приводит в негодование – то за скорой цензурой дело не станет.

**15.** Если не воспитывать в детях свободу мысли и слова, но загонять их в жесткие предписанные рамки, не воспитывать в них уважение к своему уму и способность доказывать свою точку зрения, но учить повторять за учителями-начальниками, если прививать им представле-

ние о культе как естественной и похвальной особенности миропонимания – то вы всегда будете жить в авторитарном государстве. Бессмысленно сетуя, отчего же это так.

**16.** Они свержают человека. Они говорят об изменении системы. Но они не касаются коллективного мировоззрения. Не думают о перестройке закрепощенного, авторитарного, конформистского сознания и подсознания – на свободное, самостоятельное и ответственное. Потому что самому оценивать и принимать решение и самому подтверждать и защищать его – это и есть свобода и ответственность в одном флаконе.

Кормя людей готовыми рецептами и требуя их соблюдения, настаивая на их единственной правильности и допустимости – это и есть истоки тоталитаризма. А риторика – левая или правая, культурная или бытовая – здесь не важна.

Не важно, кто твой кумир. Важно, что он есть. Структура твоего подсознания искажена и прогнута под него: он отпечатан в тебе, как водяной знак. И внешний объект займет в твоём подсознании предназначенное (предуготованное) место, куда бы ты ни обратил мысленный взор.

Кумир бы и хорош – да плоха кумирня: поставь пьедестал – и он сам потребует себе статуи.

Поклонение как мировоззренческий стереотип, принцип.

## Аккорд еще рыдает

### Ножик Сережи Довлатова

#### *Литературно-эмигрантский роман*

В Копенгагене я сделал сделку. Заработанные лекциями деньги сунул в свою книжку, а книжку подарил журналистке из газеты с трудновоспроизводимым названием. После чего пошел по магазинам.

Одна из кожгалантерейных лавок прогорала в дым, судя по ценам. Роскошный кейс с номерным замком, стоивший напротив полторы тысячи крон, здесь предлагался за сто пятьдесят. Я вспотел, час пытаюсь обнаружить суть подвоха. Жалко тратиться на подарок себе самому, разве что ты на этом здорово сэкономишь. Бедный пластмассовый дипломат мне омерзел. При малейшем недосмотре он вдруг делал «Сезам, откройся!», вытряхивая барахло под ноги прохожим. В Венеции он раскрылся на мосту, и фотоаппарат прыгнул из него в канал, только булькнул. Ненавижу Венецию.

Магазин закрывался. Я принял решение. Продавщица сломала ноготь, выставляя мои любимые числа. После чего я достал бумажник и показал ей, что там пусто. В более темпераментной стране меня бы убили.

Вялый народ эти датчане. Недаром викинги перед дракой нагрызались мухоморов.

Редакцию все давно покинули. Журналистка отправилась проводить уик-энд на яхте. Вы видели фильм «Торпедоносцы»? Так яхт там чертова прорва, все берега заставлены.

Пароход у меня уходил в восемь утра! А через наш банк получишь лишь соболезнование о валютных трудностях державы. В кармане брякала мелочь, сигареты кончались. Хотелось жрать. Хотелось выпить и отвести душу.

Я побрел найти немного понимания к московской знакомой, недавней эмигрантке. Она жила в центре, зато без горячей воды. Мы выпили водки, закусили бананом и обматерили Данию. Одна из образцовых...

Последним ее впечатлением о родине было знакомство с Александром Кабаковым. Это сильное и приятное впечатление еще не изгладилось, оно подпитывало ее интеллектуальный патриотизм.

Пока она по частям мылась холодной водой, я стал читать «Сочинителя». Автор наслаждался мужской любовью интеллигента к женщине и оружию. «Он с треском вспорол брезент швейцарским офицерским ножом с латунным крестом на рукояти».

Если швейцарские офицеры соответствуют своим ножам, то их можно ловить сачками. Я начал открывать дипломат, и меж блокнотов и книг вылетел под ноги замерзшей хозяйке именно швейцарский офицерский нож. Он размером в палец. Со множеством складных штук для облегчения офицерской службы. Им можно нарезать колбасу, открыть бутылку, провертеть дырочку для ордена и вырвать волосок из носу.

Случайно, стало быть, на ноже карманном найди отметку дальних стран.

Этот ножик подарил мне Довлатов. В таллинском журнале «Радуга» мы напечатали впервые в Союзе его рассказы, и он переслал редакции подарки: пробный флакончик французских духов, что-то пишущее и складной ножик с латунным крестиком на вишневой пластмассовой щечке. Редакция была дамская, ножик взял я. Приложенная в футляре инструкция на

пяти языках, включая китайский, просвещала: «Швейцарский офицерский нож! Из наилучшей стали!» Китайский язык объяснялся местом изготовления: там дешевле.

Теперь-то мы извели качества дешевых китайских товаров. Возможно, оно основано на надежде свести продолжительность, и без того краткую, нашей жизни, и без того горестной, к веку воровья, истребленного рисоводческим кооперативом. Страдающие недостатком жизненного пространства китайцы умны, терпеливы и настойчивы. Их зоркие, прицельной суженности глаза вежливо смотрят через Амур. Восток научился проникать удаленность времени и пространства задолго до скудоумных итальянцев с примитивом их линейно-геометрической перспективы. И в дальней перспективе, где держава перетекает и делится, как амеба, никуда мы не денемся от передела территорий. Пьеса о территориальном суверенитете написана давно и называется «Собака на сене».

Когда-то я жил на китайской границе, на Маньчжурке. Рубежная станция Забайкальск называлась тогда Отпор! Доотпирались.

И китаец звучало у нас символом честности и трудолюбия. Несравненное качество китайского ширпотреба памятно старикам. Равно как и победоносная борьба с мухами, воровьями и гоминдановцами. Смелый, как тигр. Двадцатизарядный маузер Ли Ван-чуня не могло заклинить.

Восторгающие «Пионерскую правду» любовь и уважение к братским китайцам не мешали пацанам травить бурятов. То, что буряты жили в этой степи поконом веков, было их личным и никого не колышущим горем. Бурят было словом ругательным. Синонимом его было слово дундук.

Много лет спустя, студентом ленинградского университета, практикант в журнале «Нева», я с недоверчивым удивлением узнал от завпроездой, покойного Владимира Николаевича Кривцова, писавшего тогда роман о первом российском после в Китае отце Иакинфе Бичурине, что до революции, при изрядной малограмотности в России, мужчины – монголы и буряты были грамотны поголовно и весьма. Мальчиков отдавали на воспитание в дацаны, откуда они возвращались обученными и причастившись восточных мудростей. Это мы им потом дацаны закрыли, лам перешлепали, а прочим ввели кириллицу: Маша мыла раму.

Вот в том же отделе прозы я впервые услышал фамилию Довлатова. Я вообще услышал там много нового и интересного. Например, что Октябрьская революция – ну и что, сделали лучше? Я клацнул от неожиданности своими белыми комсомольскими зубами; что же касается ответа, так это сейчас, двадцать три года спустя, все стали умными и храбрыми.

За эти двадцать три года задавший мне этот вопрос с ехиднейшей и ласковой улыбкой Самуил Аронович Лурье, старший (и тогда единственный) редактор отдела, ах Джон, а ты совсем не изменился. Неизменно – худ, лыс, сутул, узкоплеч и очкаст: гуманитар-интеллигент, разве что зав в том же отделе. Нужно было пережить застой, перестройку, распад, полдюжины главных и ответсекров, непотопляемо пройти скандалы и суды, сдать роскошные покои фирмам нуворишей и ужаться в боковые комнатки, обнищать и уменьшить формат на скверной бумаге, чтоб открылось: что сутулость скрадывает высокий рост, из растянутых рукавов свитера торчат ширококостные волосатые запястья, в объятии Саша Лурье жилист и тверд на ощупь, и хорошо познается в способности твердо принимать любое количество спиртного, отличаясь изящнейшим умением по мере возлияния интимно изливать гадости тому, кто платит за выпивку. Учитывая должность и реноме лучшего ленинградского критика, поставить ему хотели многие. Справедливость требует отметить, что из этих многих у очень малых доставало умственных способностей вычленить суть витиевато-иронических фраз, которые с тонкой ухмылкой накручивает им на уши поимый собеседник.

Лурье и пересек меня с Довлатовым забавным образом. Это образ всех его действий.

Я был старательным практикантом. И мою старательность решили поощрить материально. Возможно, к тому отдел прозы подтолкнула совесть. В течение месяца всю работу в

охотку делал я один, освободив зава и редактора для их собственных творческих нужд. Я не перенапрягся. В числе непонятого мною в литературой жизни осталось, чем могут заниматься в ежемесячном журнале больше трех человек. Некрасов был вообще один, не считая как раз Авдотьи Панаевой и ее мужа Панаева: их функции изучены литературоведами и понятны. Мое непонимание встречает у тружеников редакций раздраженный протест.

Меня решили оплатить посредством редакционного гонорара за отшибную внутреннюю рецензию, из расчета три рубля за авторский лист рецензируемой рукописи.

– Миша, – сказал Лурье, вручая мне папку с надписью «Сергей Довлатов. – Зона.», – пусть совесть вас не мучит. Напечатать мы это все равно не можем. Увидите: там зэки, охранники, пьянки, драки – Попов (главред) этого не пропустит в страшном сне. А если чудом решил бы пропустить – снимет цензура. А если не снимет – то снимут нас всех. Но этого, к счастью, произойти не может, потому что Попов дорожит своим креслом, и если встречает в тексте слово «грудь», он подчеркивает его красным карандашом и гневно пишет на полях: «Что это?!». И это после нашей редактуры. А если он увидит слово, например, «сиськи», его просто свезут в сумасшедший дом. Так что – пишите. Сами понимаете. Обижать человека не надо, хороший парень, я его знаю, в общем, все равно это не литература... сочините что-нибудь такое изящное, отметьте достоинства, недостатки, посетуйте в заключение, что «Нева» не может это опубликовать. И обязательно пожелайте творческих успехов автору. Страниц пять, больше не нужно. Дерзайте: я не сомневаюсь, что у вас получится.

Вспоминая о Хемингуэе, Джек Кейли пишет: «При первом знакомстве Хемингуэй произвел на меня впечатление туповатого парня, и не раз производил такое же впечатление впоследствии». Таким образом, «Зона» не произвела на меня впечатление литературы. К моему облегчению, не пришлось даже кривить душой. Я всего лишь подошел к решению задачи с предварительным умыслом и готовым ответом. Позднее я узнал, что это называется журналистским профессионализмом.

И все-таки «Зона» без нажима запоминалась. Она была не похожа на прочее, идущее в журналах.

Первая в моей жизни рецензия была лестно оценена талантливым ленинградским критиком и редактором Лурье и принесла мне тридцать рублей. Именно и ровно. Первый в жизни гонорар памятен, за что получен – памятно менее, а уж ничего не значащая фамилия автора, послужившая лишь предлогом к гонорару, изгладилась из воспоминаний быстро и начисто за событиями более интересными и значительными. С утра до ночи один в отделе я сортировал рукописные завалы, писал письма, правил гранки и в пределах малых полномочий дипломатично беседовал с посетителями, принимая свежие рукописи и уклоняясь решительных ответов. Предмет моего злорадного торжества составило редактирование идущей в набор повести великого писателя Глеба Горышина про то, как он поехал на Камчатку, землепроходец. На Камчатку двумя годами ранее я на спор добрался за месяц без копейки денег от Питера, и цыдулю Горышина, пользуясь анонимной безнаказанностью внутриредакционной машины, перередактировал вдрызг. Опасался, что маститый автор возбухнет по ознакомлении с публикацией, но позднее не воспоследовало ни звука. Цимес был в том, что проходивший в Ленинградской писсорганизации под кличкой «Змей Горышин», обликом более всего напоминая сподвижника Карабаса-Барабаса пьявколова Дуремара, а бездарностью казеиновую сосиску, являлся вышеупомянутой организации третьим секретарем, то есть имел довольно власти испортить кровушку любому.

За этим самозабвенным бесчинством и застал меня друг-одноклассник Серега Саульский, трепетно донесший в редакцию свое первое прозаическое произведение. Заготовив фразы к беседе, он постучал под табличкой «Отдел прозы» и водвинулся с почтительным полупоклоном.

– Присаживайтесь, добрый день, – казенно-приветливо бросил я, не отрываясь от художественного выпиливания по тексту.

– А... э... – подал ответный звук посетитель, и я узрел выпученные саульские глаза и отпавшую челюсть. За двухметровым редакторским столом сидел я без пиджака, и смотрел вопросительно.

С полминуты Саул напряженно соотносил визуальный ряд с семантическим. Потом выматерился и закрыл рот.

– Сука, – сказал он. – Пришел на хрен в святая святых. Молодой автор, тля, с трепетом. Первый рассказ на суд толстого журнала. А там Мишка Веллер в домашних тапочках.

– Гадская жизнь, – согласился я. – Когда кадет Биглер становится генерал-майором и лично является беседовать с Богом, то Богом уже работает капитан Сагнер.

– А ты кем здесь работаешь?

– Практикуюсь.

– Я вижу. Так рассказ-то есть кому дать прочесть?

– Есть.

– Кому?

– Мне.

– Тебе-то на хрена?

– Прочту.

– Спасибо. Большое спасибо.

– Пожалуйста. Это наша работа.

– А дальше?

– Могу написать на него рецензию, – предложил я.

– Зачем?

– Для гонорара.

– И много ты уже написал?

– До фига. Одна под рукой – хочешь прочитать?

«Я иногда думаю, – признался Саул много позднее, – что вот это несовпадение ожидаемого и встреченного так на меня тогда подействовало, что именно поэтому я в „Неву“ ничего больше не носил. И никуда не носил. И вообще писать прозу бросил. К счастью. А вдруг, думаю, там опять какая-нибудь знакомая падла сидит. Разрушил ты, Михайло, хрустальную мечту юной души о храме высокой литературы.»

Мы с ним нажирались тогда в Париже, куда он переселился давным-давно, перебирая славные воспоминания.

– Ты писал хорошо, – сказал я. – Как, впрочем, и все, что ты делал. И бросал. Зря. Жаль.

Эта была правда. Боксеры завидовали его боксу, барды – песням, журналисты – статьям, и все вместе и люто – его успехам у баб.

– Да ну, Михайло, какая на хрен литература, – сплюнул он с гримасой суперменистого киноактера в роли неудачника. – Кому, зачем... Когда Кортасар работал здесь в ЮНЕСКО, коллеги в комнате не подозревали, что он чего-то там пишет. Было время Солженицына всюду продавали на килограммы – его знали. Вот Лимонов надрывался шокировать, как он негру минет на помойке делал – ошарашил: уровень откровенности непривычный; у всех метро продавали. Европейская культура... Хотя французскую любовь придумали, сами они полагают, французы, но если бы Бодлер описал на уличном аргю, как он делает минет Рембо, французы бы сильно удивились.

Еще в СССР еще в миллионтиражных журналах еще шумела дискуссия о праве на литературную жизнь табуированных слов. С ученым видом поднимаясь над интеллигентской неловкостью, полумаститые писатели и доктора филологии защищали в печати права мата на литературное гражданство, светски впиливая в академические построения ядерный корень.

Сыты лицемерием, хватит, свобода так свобода. Урезать так урезать, как сказал японский генерал, делая себе харакири. Уж отменять цензуру – так отменять, значит.

Из скромности я помянул, что первым в СССР табуированные, они же неприличные, нецензурные, матерные, грязные, площадные, заборные, похабные, слова напечатал ваш покорный слуга зимой 88-го года в таллинском журнале «Радуга». Мы в трех номерах шлепнули кусок из аксеновского «Острова Крыма» и, балдея от собственной праведности, нагло приговорили: мы не ханжи, из песни слова не вырубешь топором, автор имеет право. В набранном тексте матюги торчали дико. Глаз на них замедлялся и щелкал. Главный скалил зубы и подначивал: «Давай-давай!». Союз трещал, Эстония уплывала в независимость, главный был из лидеров Народного фронта, уже никто ничего не боялся – с на полгода опережением российских событий, свобод и самочувствий: мат был волей, реваншем, кукишем. В этом опережении России скромная «Радуга» первой в Союзе дала и Бродского, и Аксенова, и «Четвертую прозу», и до черта всего. Смешное время; веселое; знали нас, знали, в столицах выписывали. Что мат.

Материться, надо заметить, человек умеет редко. Неинтеллигентный – в силу бедности воображения и убогости языка, интеллигентный – в неуместности статуса и ситуации. Но когда работяга, корячась, да ручником, да вместо зубила тяпнет по пальцу – все фонемы, что из него тут выскочат, будут святой истиной, вырвавшейся из глубины души. Кель ситуасьон! Дэ профундис. Когда же московская поэтесса, да в фирменном прикиде и макияже, да в салонной беседе, воображая светскую раскованность, женственным тоном да поливает – хочется послать ее мыть с мылом рот, хотя по семантической ассоциации возникает почти физическое ощущение грязиности ее как раз в противоположных местах.

Вообще чтобы святотатствовать, надо для начала иметь святое. Русский мат был подсечен декретом об отделении церкви от государства. Нет Бога – нет богохульства. Алексей Толстой: «Боцман задрал голову и проклял все святое. Паруса упали.» Гордящийся богатством и силой русского мата просто не слышал романского. Католический – цветаст, изошрен – и жизнерадостен. «Ме каго эн вейнте кватро кохонес де досе апостолес там бьен эн конья де ля вирхен путана Мария!» Вива ла република Эспаньола.

Экспрессия! Потому и существует языковое табу, что требуются сильные, запредельные, невозможные выражения для соответствующих чувств при соответствующих случаях. Нарушение табу – уже акт экспрессии, взлом, отражение сильных чувств, не вмещающихся в обычные рамки. Нечто экстраординарное.

Снятие табу имеет следствием исчезновение сильных выражений. Слова те же, а экспрессия ушла. Дело ведь не в сочетании акустических колебаний, а в информации, в данном случае – эмоционально-энергетической, которую оно обозначает. Дело в отношении передатчика и приемника к этим звукам. Запрет и его нарушение включены в смысл знака. При детабуировании сохраняется код – информация в коде меняется. Она декодируется уже иначе. Смысл сужается. Незапертый порох стораит свободно, не может произвести удар выстрела. На пляже все голые – ты сними юбку, обнажи жопу в филармонии. Условность табу – важнейший элемент условности языка вообще. А язык-то весь – вторая сигнальная, условная, система. С уничтожением фигуры умолчания в языке становится на одну фигуру меньше – а больше всего на несколько слов, которые стремительно сравниваются по сфере применения и выразительностью с прочими. Нет запрета – нет запретных слов – нет кощунства, стресса, оскорбления, эпатажа, экспрессии, кайфа и прочее – а есть очередной этап развития лингвистической энтропии, понижения энергетической напряженности, эмоциональной заряженности, падения разности потенциалов языка. Обогащаясь формально, язык обедняется по существу. Дважды два. Я так думаю, сказал Винни-Пух.

Ладно: писатели неучи, филологи идиоты, – обратились бы к Лотману за разъяснениями; сдались они ему все, у него жена болеет...; Зара была еще жива, и Лотман был жив.

Ага; вот поэтому в самых половых сценах писаний Лимонова или его жены Медведевой эротического чувства, со-возбуждения для читателя не больше, чем для старого гинеколога – в сотой за прием раскоряченной на кресле старухе. Ну, есть такое место, такие движения, и что. Обыденность слова сопрягается с обыденностью фразы и сцены. Возникает импотенция текста. Что связано с импотенцией, кстати, телесной, это вполне испытали на себе просвещенные раскрепощенные французы. Чего волноваться – обычное дело кушать, выпивать, зарабатывать деньги и совмещать свои половые органы. А волнение – это избыток чувства, энергии, а если ничем никогда не сдерживать – не будет избытка, а отсутствие избытка – слабосилие, упадок, конец. Вам привет от разврата упавшего Рима. Закат Европы. Смотри порники: там же никогда ни у кого толком не стоит. Работа такая.

Сим макарон к концу второй бутылки обнаружив, что литературная тема беседы естественно и плавно перетекла в сексуальную, мы ностальгически посмаковали приключения ленинградской молодости, помянув и лихой заезд с портфелем «Рымникского» к двум красивым подругам, оказавшимся ночью злостными лесбиянками, чему предшествовала та встреча в редакции.

– Читаю я твою рецензию: ни хрена себе, думаю, сидит Мишка тут и решает, кого печатать, а кому отказать, а ему еще деньги за эти отказы платят! И только собираюсь предложить – напечатай, мол, а гонорар вместе пропьем, как он и говорит: будь моя воля, я бы это, конечно, из интереса напечатал. Эге, думаю, парень, да тебе печататься легче чем ему ровно на одну инстанцию – на себя самого. Так что теперь – настала твоя воля?

– Воля моя, воля... Наливай да пей.

– Сейчас тут Довлатова всего издали. Вижу – «Зона»: вспомнил, дай, думаю, куплю – о чем хоть речь-то шла. Ты его знал? – спросил Саул.

– О, провались он пропадом, – сказал я. – И в Париже, в Венсенском лесу, под луной, нет мне покоя!

Много лет Довлатов был кошмаром моей жизни.

Кто ж из нынешней литературной братии не знал Сережи Довлатова? Разве что я. Так я вообще мало кого знаю, и век бы не знал. Он со мной общался, как умный еврей с глупым: по телефону из Нью-Йорка. То есть просто все мои знакомые были более или менее лучшими его друзьями: все мужчины с ним пили, а все женщины через одну с ним спали, или как минимум имели духовную связь. Большое это дело – вовремя уехать в Америку.

Он сыграл в делах моих, этом дурном сне, большую роль. Ее нельзя назвать слишком позитивной. Это была роль шагов Командора за сценой. Хотя сам он о том не мог предполагать. Когда я узнал о нем, он уже никак не мог знать обо мне: он уже свалил. Чем еще раз подчеркивалось его умственное превосходство.

В ту эпоху звездоносный генсек Брежнев придал новое и совершенно реальное значение метафоре «ни жив ни мертв». Реанимация напоминала консилиум над телом Буратино. С неживой невнятной речью и неживыми ошибочными движениями он выглядел кадавром столь законченным, что из года в год представлялся все более бессмертным. То есть разум понимал, что ему полагается умереть, но эта в любой момент возможная и ожидаемая, но никогда не наступающая смерть в конце концов стала столь же неопределенно-отдаленной абстракцией, как тепловая смерть вселенной. Его состояние на грани иного мира стало константой общественного бытия.

В этом общественном бытии моим рассказам места не было. На чем настаивали все известные мне журналы и издательства. Мое сознание не хотело определяться бытием. Сделай или сдохни.

Эстония в Ленинграде славилась изобилием и либерализмом. Бытие и сознание здесь были подточены поздним приходом советской власти и приемом финского телевидения. Вете-

рок дотягивал в щель форточки забитого окна, которое Петр прорубил в Европу. Светил какой-то шанс.

В издательстве «Ээсти Раамат» рукопись одобрили в принципе.

– Но есть одно условие. Мы издаем книги только местных авторов, живущих здесь постоянно.

Ясно. Естественно. А то поднапрет разных, захлестнет вал. Да я буду жить в Кушке, в Уэллене, в Дудинке, только оставьте шанс. Не уверенность, не гарантию: хоть запах реального шанса.

– Таллин режимный город, – сказали в паспортном столе. – Для прописки нужно ходатайство с места работы, оно будет рассматриваться. А на какую площадь вы хотите прописаться?

В республиканской газете «Молодежь Эстонии» посмотрели мои старые вырезки из многотиражек:

– Мы вас возьмем. Есть штатная вакансия. Но, конечно, нужна прописка. Вы уже переехали в Таллин?

И я проволочка сквозь все круги обыденного бюрократического ада, коридоры, очереди, заявления, выписки, справки, резолюции, подписи, печати, милиции, паспорта, жилконторы, очереди, записи, очереди, и переехал в Таллин.

И первое, что меня спросили в Доме Печати:

– А Сережку Довлатова ты знал?

– Нет, – пожимал я плечами, слегка задетый вопросами о знакомстве с какой-то пузатой мелочью, о ком я даже не слышал. – А кто это?

– Он тоже из Ленинграда, – разъяснили мне. Я вспомнил численность ленинградского населения; три Эстонии с довеском.

– Он тоже писатель. В газете работал.

– Где он печатался-то?

– Да говорят же: вроде тебя.

Это задевало. Это отдавало напоминанием о малых успехах в карьере. Я не люблю тех, кто вроде меня. Конкурент существует для того, чтобы его утопить. Я не интересовался салонами, компаниями и «внутрилитературным движением рукописей»; слово андеграунд еще не употреблялось, как и слово тусовка.

– Серенька был, можно сказать, первое перо Дома Печати.

Мое перо, трудолюбивый и упрямый ишак, не хотело писать для Дома Печати. Мне было тридцать, и пять лет я не делал для заработка ни строчки. Халтура – смерть. Но для книги требовалась прописка, а для прописки авторитетная работа. В детстве доктора говорили, что у меня повышенный рвотный рефлекс.

Над первым материалом, заметкой о знатной учительнице, я потел и скрежетал неделю. Я добивался глубин мысли, блеска стиля и изысканной лаконичности – при сохранении честности. Я был ишак.

В результате истачал маленький газетный шедевр. Главный редактор, человек добрый настолько, что редакция жрала его поедом, не давась отсутствующим хребтом, Вольдемар Томбу, тактично подчеркнул несколько строк:

– Вот вы пишете: ибо во многой мудрости много печали... Разве на самом деле это так? Вы правда так думаете?..

– Э... – замялся я. – Но ведь это, в общем... фраза известная, расхожая, так сказать... из классики.

Томбу помолчал. Спросить откуда не позволяло его положение. Про Экклезиаста я, по понятным причинам, акцентировать не стал. Склонность к цитированию Священного писания не могла быть поощрена органом ЦК комсомола, хотя бы и Эстонии.

– Ну, – мягко улыбнулся Томбу, – мы ведь с вами понимаем, что в общем это же не так?.. Давайте лучше напишем: «Ибо во многой мудрости много пища для размышлений». Согласны? Вот, – добрым голосом заключил он.

Драли с тех пор меня многочисленные редакторы, как с сидоровой козы семь шкур, но и поныне пикантнейшим из воспоминаний остается первое сотрудничество с эстонской прессой: как редактор «Молодежки» отредактировал царя Соломона.

Да. Оптимизм – наш долг, сказал государственный канцлер.

Через месяц, поставив руку, я строчил, как швея-мотористка. В работе газетной и серьезной плуг ставится на разную глубину. Наука это нехитрая: как оперному певцу научиться снимать голос с диафрагмы, чтоб тихонько подвывать шлягер в микрофон. По мере практики голос, без микрофона, начинает «срываться с опоры», «качаться» – и оперному певцу хана. Писание на Бога и на газету – при формальном родстве профессии принципиально разные, смешивание их дает питательную среду для графомании и алкоголизма.

Однако в штат меня ставить не торопились. Говорили комплименты, с ходу печатали все материалы, исправно выдавали гонорар, а вот насчет штата Томбу уклончиво успокаивал, просил обождать недельку. Шли месяцы.

Много лет спустя я узнал, что добрый и честный Томбу раз в неделю ходил в ЦК и устраивал тихий эстонский скандал.

– Человек специально приехал из Ленинграда, – разъяснял он. – Журналист высокой квалификации. Была предварительная договоренность. Я сам его пригласил на место. Обещал. Место пустует. Брать некого.

– Что значит некого. Почему же вы не готовите кадры.

– У нас не журфак и не курсы повышения квалификации. У нас республиканская газета. Вас волнует уровень вашей газеты?

– Нас волнует истинное лицо сотрудников нашей газеты. Просто так из Ленинграда не уезжают, знаете. Чего он уехал?

– Полмиллиона русских приехали сюда из России, – кротко отвечал Томбу. – Вы хотите поднять вопрос, почему они уехали из России?

– Он нерусский, – сдержанно напоминали в ЦК. – У нас в русских газетах и так работает половина евреев.

– Так что мне теперь, в газовую камеру его отправить? – не выдерживал Томбу.

– Не надо шутить. А если он возьмет и уедет в Израиль?

– Если бы он хотел поехать в Израиль, то почему он поехал в Эстонию? Перепутал билетную кассу?

– Вы можете ручаться, что он не уедет?

– Да, – говорил Томбу. – Я ручаюсь.

– Толку с вашего ручательства. А историю с Довлатовым вы помните? – приводили решающий аргумент в ЦК. – Тоже ручались: прекрасный журналист, все в порядке, надо взять, – а чем это кончилось?.. Нам второй раз такой истории не надо.

– При чем здесь Довлатов? – не соглашался Томбу.

– Как при чем? Тоже: писатель, талантливый, из Ленинграда... а потом – скандал, КГБ, рукописи, и эмигрировал в Америку!

– Он его вообще не знал! – отмежевал меня Томбу от бывшего замаскированного врага.

– Одного поля ягоды, – реагировали в ЦК. – Точно тот же вариант. А не знать его он не мог – вы посмотрите, ведь все совпадает, как у близнецов. А он продолжает настаивать, что не знает. Значит, скрывает. Значит, есть что скрывать. Вы понимаете?

Эта майская песня кончилась в сентябре: меня взяли временно на место, как водится, ушедшей в декрет машинистки. Она уже родила, и теперь по утрам тошнило меня. Бессмысленность работы убивала. Какая «вторая древнейшая»! по сравнению с советским газетчиком

проститутка вольна, как Ариэль, и богата, как министр Госкомимущества. Я понял, что такое фашизм: это когда добровольно и за маленькую зарплату пишешь обратное тому, что хочешь. В пыточные камеры мне был определен отдел пропаганды. Над столом я прилепил репродукцию картины Репина «Арест пропагандиста». Глядя на живопись, я поступал в жандармы, крутил руки за спину заведомо пропаганды Марику Левину и, тыча ножнами шашки под ребра, гнал его в сибирскую каторгу. Я стал нервным.

– А вот Серега Довлатов, он запивал иногда, что ты, – поведывали коллеги. – Потом однажды похмелялся, сел на утра, и т-такое выдавал – пачками! Для газеты одно, для себя другое.

Мое для себя другое тем временем тащило сквозь издательские шестерни. Мельница Господа Бога мелет медленно, успокаивал редактор. История повторялась, как кинодубль с другим составом статистов. Закулисная механика от меня скрывалась.

Умный главный редактор издательства ознакомился с рукописью сам и пошел в ЦК. Пуганая ворона хочет выжечь кусты из огнемета. Или старается договориться с ними лично.

– А почему он уехал из Ленинграда? – спросили его.

– А почему не спросить об этом четверть миллиона русских, которые приехали в Таллин из России? – спросил Аксель Тамм.

– Это хорошая книга?

– Я бы пришел из-за плохой книги?

– Так почему ее не издали в Ленинграде?

– Я не заведую Лениздатом. Я работаю в «Ээсти Раамат». Кто-то мной недоволен?

– У него были там неприятности? Трения, инциденты?

– Что вы имеете в виду?

– Перестаньте. Вы понимаете, что мы имеем в виду.

– Ничего не было.

– Откуда вы знаете? Вы проверяли?

– Нет. Если бы что-то было, я бы знал.

– Это еще надо проверить.

– Проверяйте.

– А почему он приехал именно к нам? Он эстонец?

– Нет, он не эстонец.

– А кто?

– Еврей.

– Так почему он не поехал издаваться куда-нибудь в свою Россию, в Сибирь, в Томск, в Омск?

– Он еврей. Кто его там будет издавать?

– Так почему он не поехал издаваться в свой Израиль? А если он уедет в Израиль?

– Зачем ему ехать в Эстонию, если бы он хотел уехать в Израиль?

– Как знать. Точно так же вы тут несколько лет назад выступали насчет Довлатова. Кого защищали? Алкоголик, диссидент, антисоветчик, арест, посадили: теперь в Америке. Хватит с нас одного.

– Он не имеет никакого отношения к Довлатову.

– Что значит не имеет. Точно то же самое. Не следует ошибаться еще раз.

Машинистка вернулась из декрета. С облегчением и ненавистью я навсегда распрощался с газетной работой. И тут издательство вернуло мне рукопись, сопроводив похеривающей рецензией. Я впал в непривычную растерянность. Совсем не то обещал мне ярл, когда приглашал в викинг.

Я лишился ленинградской прописки. Поменял комнату в суперцентре, Желябова угол Невского, на хибару таллиннской окраины. Дама ваша убита, ласково сказал Чекалинский.

Корнет Оболенский, дайте один патрон. Мне было решительно обещано место в республиканской газете. Редактор уверял, что книга прекрасная и проблем с выходом не будет. В итоге я получил полную возможность поведывать за злым зельем свои печали эстонской кильке пряного посла, закусывая ею из разбитого корыта.

Проклятый мифический Довлатов заварил мне ход. Он выработал Таллинн и свалил. Я шел по его следам, и вся малина на тропе была обгажена. На тропе был насторожен капкан, и я вделся. Я бы его повесил.

– Ну разве не стоит ему за это когда-нибудь въехать? – жаловался я в ответ на очередные легенды о Довлатове. Теперь я помнил хорошо, кого читал и рецензировал в «Неве».

(Ах не фраер Боженька: всю правду видит, да не скоро скажет. Ко мне вернулся мой камушек, из пращи да булдыган в лоб. Много, много лет спустя посетила меня эта суеверная мысль. А вот не шейте вы ливреи, евреи.)

– В нем было два метра росту, – снисходительно говорили мне наши общие приятели.

– Если б во мне было два метра, я бы вообще всех убивал, – злобно цедил я. В боксе есть присказка: длинного бить приятнее – он дольше падает.

Моя биография вдруг стала укладываться в его колею, как складная головоломка, которую мне было не решить.

Куда податься. Для тебя, Веллер, Монголия заграница, сказали когда-то на филфаке, не понимая, за каким хреном и благами я-то влез в комсомольскую работу. Велика Россия, а отступать нам приходится на запад. Некуда мне было ехать. Приехал.

Во-первых, подача заявления на выезд уже автоматически означала, что отец мой вышибается без пенсии из армии, а брат – с волчьим билетом из института. Во-вторых, эмиграция была уже как раз только прикрыта, все, олимпиада прошла, выезд кончился.

А главное – я не мог уехать побежденным. Вот не мог – и хоть ты тресни. Они меня достали. Обложили со всех сторон. Прижали к стенке. И я должен был сделать свое. Не можешь – делай через не могу. Или сдохни. Смысл жизни был прост, как гвоздь в мозгу. Я должен был издать эту книгу здесь, в Союзе. А потом можно валить куда угодно к чертовой матери. Потом точно свалю. Женюсь, сбегу. Но не потому, что они меня победили и заставили. А потому что я сам так решил. Иначе я дерьмо, и так мне и надо. Я не буду неудачником.

Воспитание в далеких гарнизонах и мордобой в хулиганской юности способствуют целеустойчивости.

Оставалось одно. Сидеть на месте и тихой сапой рыть траншею вперед и вверх. А там – хоть это не наши горы, но тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх, до самой вершины. Хэйко банзай!

Но раздражение мое нетрудно себе представить. Мало мне своих бед – так еще тень довлатовских подвигов простерлась на меня.

Летом я отправился на Таймыр и завербовался на промысловую охоту. Работа жестокая и грязная, усталость и недосып, гнус жрет, и все переживания мельчали и утрясались: а нет причин для тоски на свете, слушай, детка не егози.

Вот когда в пустыне меня, ловца-салагу, гюрза ударила – о, это было переживание. Ни водки, ни сыворотки, и дневной переход до лагеря. Укус был под локоть, а его накося выкуси, сам себе не отсосешь. Выдавливай надрез да чиркай в него спички.

Я просыпался до срока от наработанной зимней бессонницы, крутил приемник у костерка, вылавливая музыку далеких цивилизаций, ребята постанывали во сне, дергая изрежанными руками, и я в привычный за которое уже лето раз ощущал себя на самом краю земли, и из этого далека все эти несмертельные мои проблемы казались простыми и ясными: есть шанс? паши и не дергайся.

Заработка должно было хватить на прокорм до следующего лета. Вернувшись, я переложил печку в камин, колол дрова, гулял по взморью, писал рассказы; готовил сборник. Сдав

его в издательство, спокойно ждал, что и его выпнут, я составлю следующий и принесу его, и в конце концов протаранится, в жизни нужна тактика бега на длинную дистанцию, не рви со старта, не суетись, и удача благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет.

Пытка неизвестностью придумана давно и действует исправно. Тихо-тихо тянула из меня все жилы издательская машина. Я мог лишь ждать и не сорваться – никто, ничто и звать никак. Пассивный залог в русском языке называется страдательным.

На выход книги я поставил все. Больше у меня в жизни ничего не было. Я покинул свой город, семью, любимую женщину, друзей, отказался от всех видов карьеры, работы, жил в нищете, сэкономил чай и окурки, ничем кроме писания не занимался.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже.

Год шел за годом. Ночами я детально обдумывал поджог дома рецензента, убийство редактора, самосожжение в издательстве. Я бы спился, но пить было не на что. А зарабатывать деньги на пропой, тратя необходимые на писание время и силы, было идиотством.

Позднее вскрылись и донос в КГБ – на что живет? тайные деньги с Запада! – с последующей годичной проверкой, и письмо в Госкомиздат СССР – вредная, чуждая рукопись! – и внутренние счеты и интриги: штатные доброжелатели из литературно-осведомительских структур бдели.

Пронеслось четыре года... Это ново? так же ново, как фамилия Попова, как холера и проказа, как чума и плач детей.

И когда вышла «Хочу быть дворником», клиент был готов. Я лежал. Разделить радость мне было не с кем, да и не было никакой радости. Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула. Вставал я для того, чтобы поесть, выпить и дойти до туалета. Бриться, мыться, чистить зубы – энергии уже не было. Когда кончались еда и водка, раз в несколько дней брал пару червонцев из гонорарной пачки и плелся через дорогу в магазин, дрожа от слабости, оплывший и заросший. Я мечтал, чтобы вдруг приехал кто-нибудь бодрый и сильный, поднял меня за уши, выполоскал в горячей ванне с мылом, выбрил, передел в чистое и отнес лежать на берег теплого моря. Там через месяц я бы оклемался. Но уши мои так и остались невостребованными.

Кончилась зима, прошла весна, и в нежном трепете июньской листвы я ощутил прилив активной злобы к жизни и презрения к себе. Чувства эти были вызваны голодом. Голод объяснялся невозможностью выйти за жратвой. На мне не сходились штаны. Это были мои единственные штаны. Я попал в западню, как Винни-Пух в норе Кролика.

Я належал килограммов двадцать. Зеркало пугнуло распухшим бомжем. Портрет на фоне Пушкина, и птичка вылетает. Фоном служила ободранная ханыжная хавера, набитая окурками, стеклотарой и грязным тряпьем. Ситуация достигла исчерпывающего предела.

Винни-Пух торчал в норе, пока не похудел до диаметра выхода. Мне повезло больше.

Меня посетила знакомая. Знакомая – это неполная характеристика; неточная. Это был танк, который гуляет сам по себе. По приезде в Таллинн я был взят ею на abordаж с той жесткой стремительностью, которую требовал от своей команды кэптэн Джон Морган.

Чудо, праздник, тайфун. Она распечатала окно, за час привела в чистоту и порядок мою скверную обитель и мерзкую плоть, плюхнула коньяку в сияющие стаканы, перелистнула еще пахнущую краской книжку из штабеля у стены, объявила меня свершившимся гением, расширив влюбленные глаза, и в качестве высшего признания произнесла голосом, в котором пело эхо горных высот:

– Знаешь, я вдруг подумала, что тебе сейчас столько же лет, сколько было Сереже Довлатову, когда он приехал сюда.

Выздоровление произошло сразу. Взрыватель щелкнул. Я взвился, как пружинная змея из банки.

– Почему Довлатов?! – вопил я, швыряя стаканы в унисон внутреннему голосу, который норовил заглушить меня грохочущим водопадом матюгов. – При чем здесь Довлатов!! Что знал ваш Довлатов?! Он родился на семь лет раньше, мог пройти еще в шестидесятые, было можно и легко – что он делал? груши и баклуши бил? А мне того просвета не было! Он Довлатов, а я Веллер, он не проходил пятым пунктом как еврей, ему не был уже этим закрыт ход в ленинградские газеты, и никто ему в редакциях не говорил: знаете, в этом номере у нас уже есть Айсберг, Вайсберг и Эйнштейн, так что, сами понимаете, не можем, подождем более удобного случая; ему не давали добрых советов отказаться от фамилии под «приличным» псевдонимом! Мать у него из театральных кругов, тетка старый редактор Совписа, литературные связи и знакомства со всеми на свете, у классика Веры Пановой он литсекретарствовал, друзья сидят в журналах! а у меня всех связей – узлы на шнурках! И всюду я заходил чужаком с парадного входа, откуда и выходил, и нигде слова замолвить было некому. Он пил как лошадь и нарывался на истории – я тихо сидел дома и занимался своим. Он портил перо херней в газетах, а я писал только свое. Он всю жизнь заботился о зарплате и получал ее – я жил на летние заработки, на пятьдесят копеек в день. Он хотел быть писателем – а я хотел питать лучшую короткую прозу на русском языке. Что и делал! торжествуя завопил внутренний голос. И он приехал сюда на чистое место – сохранив питерскую прописку и жилье, взятый в штат республиканской газеты, сразу приняли две книги в издательстве, – а я отчалил с концами, влип в его след, годами доказывал, что я не верблюд, – и он провалил все, а я в конце концов издал эту книгу! Которая в принципе – теперь уже можно не бояться сглазить! – выйти не могла! Читай: «Свободу не подарят!» «А вот те шиш!» Не могла! И вышла!

Павлина ранили стрелой. Дополнительным оскорблением воспринимался тот тонкий штрих, что Довлатову она досталась на пять лет моложе: и здесь я был как бы опережен и унижен. Жизнь – борьба, а не магазин уцененных товаров! Мне подсунили биографию б/у.

То есть наши заочные отношения с Довлатовым превратились уже в некий поединок судеб и заслуг; и к моему совершенному бешенству публика из таллиннской русской творческой интеллигенции (такой русской, хучь в рабины отдавай: Скульская, Аграновская, Штейн, Тух, Рогинский, Малкиэль, Ольман и еще пара-тройка столь же отпетых славян; правы, правы были в ЦК – ишь свилось тут сионистское гнездо из недодавленных в Киевах и Ташкентах) – публика отдавала предпочтение в этом поединке ему. А вот он был им ближе: родственнее; понятнее. А вот он более импонировал, стало быть, их представлениям о настоящем писателе и литературе. Он пил, загуливал, язвил окружающим и был своим. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Я не пил, был вежлив, замкнут, а окружающих мало замечал. И никому не давал читать своих рукописей. Их мнение меня не интересовало: без надобности. Меня интересовало мнение истории. И то лишь в той мере, в какой оно совпадет с моим собственным.

По мере лет, как принято, добрея и глупея, я поддался успокоениям внутреннего голоса, что победил все-таки я, просто читатель у нас, возможно, разный. И еще одно: он был в ореоле запрета. В венце побежденного Роком и Режимом. В нимбе гонимого. За победителя боги, побежденный любезен Катону. Я бы этому Катону прищемил дверью. И еще одно. Его тут не было. Была легенда о нем. А кто ж живой может соревноваться с легендой. И еще одно. Ах, ты много о себе мнишь? Так не мни много: вот Довлатов, он-то, понимаешь...

– Сергуня Довлатов, он-то, понимаешь, никаким диссидентом, никаким антисоветчиком не был, – объяснял наш опять же общий приятель Ося Малкиэль, еще не съехавший на социал в Германию, еще макетчик и замответсекра «Молодежки», еще терроризировавший коллег любовной готовностью при малейшем несогласии провести хук правой в печень и прямой левой в челюсть. Ося знал все и затыкал всех, этих всех этому всему уча. Он не принадлежал к породе слушателей, зачисляя в нее всех видимых в зоне досягаемости, по причине несогласия с чем на дружеской пьянке довлатовская гражданская жена по Таллинну и мать довлатовской дочери Тамара Зибунова на правах хозяйки и именинницы после тысяча первого

предупреждения треснула таки Ося бутылкой по голове, ибо во всех прочих способах прикрывать фонтан его красноречия уже отчаялись. Я был не в курсе. Ося пришел ко мне поболтать за чаем, небрежно пояснив повязку ранением в афганской поездке. Он был романтик.

– Вот у тебя, Мишка, выходят книжки, тебя приняли в Союз писателей, где-то там печатают, переводят... то есть ты добился статуса нормального советского писателя.

– Какой у нас статус, змеиное молоко, мы сами-то еле живы. И где мне этим статусом статусировать...

– Не скажи. Это все-таки. Официальная печать. Издаваться легче. То-се. Вот Сергуня хотел того же самого: просто писать, печататься, жить на литературные заработки, быть писателем. Но тебе, понимаешь, повезло, а ему вот нет.

– Мне – повезло? – взрыднул я. – Это кто ж такое оно, которое меня везло?

– Какая разница... И вот теперь он в Штатах, все его книги опубликованы, издает газету «Новый американец», известный американский русский писатель. Но там это... В общем, пишет, никому он там не нужен. Жалко его.

Я сидел не в Штатах, а в Эстонии, и тоже был никому на хрен не нужен, как, впрочем, и сейчас. Зеленовато-желтый и непривычно-миролюбивый, тихий Ося осторожно потрогал повязку. Бывают моменты, когда достаёт слеза: что бы ни делал человек в России, а все равно его жалко. И мои родственные отношения с Довлатовым приобрели вдруг сочувственный характер. Никому мы не нужны по обе стороны океана, и нет для нас другого глобуса.

Хотя Штаты были как раз другой планетой. Туда брали билет в один конец, прощались навсегда, и улетали, чтоб уже никогда не возвратиться на родную землю, как космонавты на Андромеду.

Это антиподство сыграло с нашими эмигрантами известную шутку. Кухонный вольнодумец – призвание экстерриториальное. Штаты были анти-СССР. Все, что здесь глупо и плохо, там было разумно и хорошо. Уезжантов допекло до невроза: здесь было плохо все – следовательно, там все было более-менее хорошо. Приписывая большевикам эксклюзивное право на все гадства мира, диссиденты тем самым возвеличивали их до бесконечной степени негативной гениальности. Обнаружив имманентность глупости и порока на другой планете, диссиденты впадали в свое естественное состояние – депрессию на кухне. Поистине, стоило влезать в торговлю камнями, ходить с вальтером-ПП подмышкой, трястись с контрабандными изумрудами через таможи, лететь в Штаты, чтобы в Денвере у газетного киоска напороться на одноклассника Юру Дымова, рассматривающего мою рожу над рассказом в журнале «Алеф», приходиться в себя за бутылкой от сюрреализма ситуации, и ночью на его кухне выслушивать эти открытия.

– Вольному воля, – заключил Юра, разведя руками и кренясь с табуретки, как перегруженный альбатрос.

Воля моя пресловутая и мое открытие Америки настали гораздо раньше: когда я, в эйфории наглой безнаказанности, заказал с редакционного телефона Нью-Йорк, и через пятнадцать минут меня спокойно соединили с другой планетой: намертво невыездной, еврей беспартийный разведенный образование высшее безработный всю жизнь, я испытал нереальное, неземное чувство, уже забытое бывш. сов. людьми: чувство первого шага за границей... О... Хрен ли ваши цветущие яблони на Марсе. Кэптэн Блад очень любил как это? яблонь в цвету. Это очень романтишно... ха-ха!

– Слушаю, – ответил мрачный и сиповатый русский голос без всяких признаков американской гнусавости и картофельного пюре во рту.

– Сергей Донатович? – осведомился я.

– Совершенно верно.

– Эстония беспокоит. Таллинн.

– Хо-о! – сказал Довлатов.

– Такой русский журнал «Радуга».

– М-угу.

– Мы тут хотим напечатать ваши рассказы. В общем просто обязаны. Как-никак Таллинну вы человек не вовсе чужой.

– Уж как же!..

– Так если вы не против...

Ответ был в том духе, что не против. Кто б мог подумать.

– Чувствую, что у вас перестройка.

Я назвал. Он ответил, что слышал и читал. Это было приятно. Хотя неясно, чего он мог слышать и откуда читать. Я вырос в своих глазах. Все-таки он жил в Америке.

– Откуда у вас мой телефон? Хотя – у нас наверняка должны быть в Таллинне общие знакомые.

В Таллинне все знакомые – общие. На протяжении ста рублей (восемьдесят седьмого года) я рассказывал, как они (список см. выше) живут. Злорадно глядя на часы. Фирма заплатит. Наш главный с международного телефона не слезал, бешеные тыщи без звука списывались издательством как издержки международной поддержки Народному фронту в борьбе за независимость.

– Да, но возникает вопрос, как я перешлю вам тексты. У вас есть мои книги?

– Сергей Донатович...

– Просто Сергей.

Ну слава те Господи. Я с самим маршалом Фрагта разговаривал, не тебе чета, и тот с третьего раза велел: без званий и на ты, курсант. Я имел дело с интеллигентным человеком. Вопрос обращения по отчеству заслуживает отдельного социопсихолингвистического изучения. Русско-советское хамство начиналось с комсомольского свойского «ты» и сквозь все слои и структуры общества восходило к публичному «тыканью» Генсека членам Политбюро. Но снизу вверх полагалось на «вы» и по отчеству. Это было самоутверждение холопов во князьях. У лакея свое представление о величии. В офицерском корпусе разграничивалось просто: на звездочку старше – «вы», на звездочку младше – «ты». В российском, даже купринском «Поединка» захолустном армейском полку – представьте «тыканье» штабс-капитана поручику. Среди «интеллигенции» задействовались различия в должности и возрасте. К редактору, скажем, книги или публикации автор даже постарше и помаститее его обращался взаимно по отчеству. Автор моложе и немаститый отчества в ответ не получал. А уж в неформальном общении десять лет разницы казались старшему полным основанием обращаться к младшему по имени, слыша в ответ свое имя-отчество. Это вошло в естество, иное представлялось даже и странным, как бы искусственным, наигранным: обращаться по отчеству к младшему, пусть даже немного младшему, пусть даже под пятьдесят, если только он не был значительной, влиятельной фигурой. Это способствовало самоуважению старших. И не могло зачастую не унижать младших. Поразительно, что в «интеллигентах»-шестидесятниках почти поголовно отсутствует само ощущение того, что неравенством обращения он унижает собеседника, тем самым унижая некоторым плебейством манер себя. Хомо советикус.

– Ваши рукописи есть у Тамары Зибуновой. Если такую помните, – добавил я, тут же ощутив глупость своего комментария: не то укор мужскому равнодушию, не то комплимент донжуанству старого рубаки.

В трубке помолчали в веселой тональности.

– Как же, – согласился он. – Ну, тогда хорошо.

– Мы можем отобрать по своему усмотрению, или у вас есть пожелания?

– Пожалуйста – можете выбрать сами.

– Встает вопрос об оплате. С долларами здесь напряженка.

– Кажется, я еще помню.

– Но гонорар в рублях – гроши, конечно, полтора за лист, – это дело святое.

- А вы это можете заплатить Тамаре?
- Без проблем.
- Нужно какое-то письмо от меня, доверенность?
- Ничего. Так сделаем. Никаких сложностей.
- Прекрасно.
- Когда мы отберем – я вам позвоню. Через недельку.
- Буду очень рад. И вообще звоните. Да... немало воспоминаний с Таллинном связано. Мы расшаркались с нежными нотами в голосе.

Здесь полагается расписать, что идея печатать Довлатова принадлежала всецело мне одному: восстановление справедливости, отдать долг прошлому, братское сочувствие, возвращение большого писателя; тому подобное. У успеха много отцов. Нет: идея была не моя, ее родили редакционные дамы, а я так, сбоку сидел. Гордо заведовал отделом русской литературы, состоящим из меня одного. В этом есть свои преимущества: когда хоть где-то русская литература состоит из тебя одного. Хотя, если знакомые, большого ума благородные доны, желая отрекомендовать меня лестным образом, представляли как «лучшего русского писателя Эстонии», мне оставалось только раздраженно пояснять, что, конечно, в любой луже есть гад, между иными гадами иройский.

Вообще журналчик «Радуга» мог издавать один человек, по первым понедельникам месяца, перед обедом, под холодную закуску. Но редакционные дамы, как свойственно всем дамам, ставшим редакционными, пили кофе и строили интриги в убеждении, что коллектив работает напряженно, а штат явно неполон. Занять каждого своим делом, чтоб ему было некогда соваться в чужие, удалось только Фигаро, и то ненадолго.

Жизнь «Радуги» – отдельный роман. Впрочем, все есть роман – при наличии у автора ассоциативного мышления. Условием чего служит вообще наличие у автора мышления. Достопамятные дискуссии о смерти романа ошарашивали безмозглостью. Ежли роман – зеркало, с которым идешь по большой дороге, – то ли дороги укоротились, то ли ножки у дискуссантов ослабли, то ли слабая ленинская теория зеркального отражения трещину дала.

То мог быть роман о ячейке Народного фронта, который привел Эстонию к независимости, а своих зачинщиков, творческую интеллигенцию, к помойке. Что роман – эпическая трилогия! И жизнь каждого сотрудника – тоже роман, философский, энциклопедический, сентиментальный и местами матерный. Психологический триллер о том, как схарчили замглавного редактора. Сага о художнике, заболевшем аллергией на все виды красок, лечившемся год, не вняв знаку Господню, и упрямо продолжившем свою богопротивную деятельность. Или как собрали десяток идиотов, страдающих профессиональной непригодностью во всех областях занятий, и поэтому часто их меняющих, что должно было компенсироваться недержанием речи и синдромом реформаторства на фоне вялотекущей шизофрении, и объединили их в демократический дискуссионный клуб прогрессивной русской интеллигенции. Клуб дискутировал по четвергам, и головная боль у меня проходила к вечеру субботы.

Но по легенде, которая всегда совершеннее действительности, Довлатов уже написал подобный роман. О том, как он работал в ленинградском «Костре». По этой легенде роман назывался «Мой „Костер“». Раз в неделю, в ночь на субботу, его поглавно читали по «Свободе». Главы назывались: «Корректор»; «Завпоэзией»; «Ответственный секретарь». Произведение было лаконичным и сильным. Довлатов отличался наблюдательностью и юмористическим складом ума, поэтому каждый понедельник прославленного в свой черед сотрудника редакции вызывали на Литейный и после непродолжительной беседы увольняли с треском. Редакция бросила работать. Всю неделю с дрожью ждали очередной передачи, а в субботу, нервно куря и закусывая водку валидолом, крутили приемники, чтобы узнать, кто из них приговорен к казни на этот понедельник. Русская рулетка. Ряды редели. Смертельный удар был нанесен главой «Жратва». Редакция помещалась недалеко от Смольного, и в качестве органа

Обкома комсомола обедала в смольнинской столовой. Не в том зале, конечно, где боссы, и не в том, где инструкторы, и не в том, где машинистки, а вместе с шоферами и наружной охраной, но все равно – кормушка святая святых, экологически чистые деликатесы по дешевке, закрыто для простого народа. Довлатов описал столовую.

В следующий понедельник редакцию навсегда открепили от столовой Смольного. Ненависть к Довлатову, запивающему сейчас бигмаки кока-колой, достигла смертельной степени и приобрела священный классовый характер. Можно простить увольнение отца, но не потерю спецраспределителя.

Однако по прошествии лет, утечении вод и перемене масок и декораций явствует из довлатовской деятельности в «Костре» совсем другая история, закулисная, непреложно реальная и неизбежно умолчанная. Достаточно перечесть главу «Костер» из книги «Ремесло». Пригласил его Воскобойников. Позднее выяснилось, что мягкохарактерный Воскобойников работал на ГБ. Довлатов прав в догадках: в журнал обкома комсомола никаким каким не могли взять человека с нечистой анкетой, беспартийного, без круто волосатой лапы, обратившего на себя внимание конторы в связи с политическим процессом, автора сочтенных неблагонадежными рукописей, уволенного по указанию ГБ из газеты, книгу приказали рассыпать, сам под колпаком. Лишь тот, кто ничего не знает о структуре и системе информации и надзора за печатью и функциях отдела кадров, может думать иначе; для прочих совграждан это однозначно, как штемпель в паспорте. Замазанного человека возьмут только с каким-то умыслом. Теоретически первое – сотрудничество, на которое дается номинальное согласие. Зачем осторожнейшему лояльнейшему Воскобойникову такой подчиненный? После скандала в Таллинне? А вот пред патроном надо изображать деятельность: привлечение новых лиц, расширение сферы работы. Патрон требует; от патрона только такая инициатива и могла исходить. Второе, что вероятнее: Довлатов мог быть полезен как источник информации и связей в среде ленинградской «диссидентствующей» творческой интеллигенции. Нехай будет под присмотром, поближе к глазу Большого Брата. Об этом его и извещать не надо. В любом случае объективно оказался совершен неплохой и даже добрый поступок, в чем вполне можно с Довлатовым согласиться.

С ним вообще трудно не соглашаться, таков был характер его дарования. Он не написал, в некотором смысле, ничего спорного. Все просто и внятно. А если ты с чем-то все-таки не соглашался, легко соглашался он. По жизни он был миролюбивый человек. Я тоже.

И когда я стал редактировать его рассказы, несогласие вызвали только два места... Тут паленая-драная память срывается с веревки: редактирование – это поэма особая, о тридцати трех песнях, девяносто девяти сценах. Моя любимая сцена в советском редактировании – это когда классик советской литературы и знатный алкоголик-миллионер – нет, не Шолохов, но Федор Панферов тоже ничего – был наряжен руководить Всесоюзным совещанием редакторов. Открытие имело произойти в десять утра в большом зале Дома литераторов. В десять редакторы празднично расселись. Они не были классиками, а многие из них не были алкоголиками, многие вообще съехались из провинций на халявное столичное удовольствие, чего ж им в десять не рассестись. Но Панферов, повторяю, как хорошо было известно всем его знавшим, в десять утра если и садился, так только с целью принять стопарь на опохмел, жалобно выматериться и лечь обратно. Итак, ждут. Ждут... И в самом деле, к одиннадцати появляется Панферов. Недоопохмелившийся и недополежавший. Злой, как цепная сука. Транспортируют его под руки из-за кулис, как адскую машину на взводе, и устанавливают на трибуне. Кладут перед микрофоном текст приветственного слова. Панферов икает, отпивает воды, текстом вытирает губы, потом потный лоб, потом сморкается в него и убирает в карман. С бычьей ненавистью смотрит в зал. И, наконец, тяжело произносит:

– Всех редакторов... я бы перевешал, как шелудивых собак! Но... поскольку это не в моих силах... пока... особенно сейчас... ох... Всесоюзное совещание редакторов объявляю открытым! вашу мать...

Когда первый автор после моего редактирования заплакал, я с этим делом завязал. Исправлял лишь редкие явные огрехи – с согласия. Над самим всю жизнь измывались – фиг ли теперь самому других мучить. Ссылки на учебник русского языка меня бесят. А откуда, интересно, взялись в академической грамматике все ее правила? Очень просто: кто-то взял и вставил. На основе уже существовавших ранее текстов. Спасибо за усреднение и нивелировку. Зачем я должен доказывать скудоумным, что синтаксис есть графическое обозначение интонации, коя есть акустическое обозначение семантических оттенков фразы, а нюансы-то смысла и возможно на письме передать лишь индивидуальной, каждый раз со своей собственной задачей, пунктуацией? Ученого учить – только портить. Я понимаю, что редактору сладка властная причастность к процессу творчества, он рьяно отстаивает в этом смысл и оправдание своей жизни. Так пусть не самоутверждается за счет моего текста. По законам, понимаешь, современной аэродинамики шмель летать не может. Не должен, падла, летать! А он летает... сука насекомая неграмотная. Так не умеешь летать сам – не мешай шмелю. Не учи отца делать детей. Я себе заказал типографский штамп, и теперь шлепаю его на все рукописи: «Публикация при любом изменении текста запрещена!». Хотя лучше шлепать в лоб. Что по лбу.

Поэтому Довлатова я «редактировал» мягко. Я позвонил, обсудил разницу в климатических и временных поясах, потребительскую ситуацию и политические прогнозы, и перешел:

– Тут у вас написано: «шестидесятизарядный АКМ».

– Гм, – выжидательно произнес Довлатов.

– У калашникова магазин на тридцать патронов. Шестидесятизарядных магазинов к автомату нет. Это в Афгане стали связывать изолентой два рожка валетом, для скорости перезаряжания. Но это нештатная модернизация, в армии запрещено. Возможно, дело просто в том, что наряд получает по два рожка с боевыми патронами, всего шестьдесят штук: один рожок прикнут, второй в подсумке. Но автомат все-таки тридцатизарядный.

– Гм. Возможно. Знаете, это так давно все было... я мог уже и забыть. Пусть будет тридцатизарядный. Хорошо.

Я чувствовал свою бестактность. Все-таки в охранных войсках служил он, а не я. От неловкости был многословным: падла-редактор как бы оправдывался.

– Дальше, – спросил Довлатов без излишней приветливости.

– Второе и последнее, – поспешил заверить я, и готовно добавил: – Здесь я не буду настаивать. Понимаете, ненормативная лексика – вещь такая, спорная... Но мне кажется, что слово «гондон» правильнее писать через «о», а не через «а». Как бы образование разговорного просторечия по аналогии литературному «кондом», который через «о». Это, конечно, дело слуха, в препозиции стоит редуцированный, но в принципе формальное расподобление при сохранении внутренней семантики идет именно по такому пути...

Я наворачивал все, что помнил из филологической терминологии. Я старался выглядеть сильно ученым и не сильно заразой.

– Возможно вы правы, – с веселым добродушием прогудел Довлатов, и я представил, как в Нью-Йорке ранним утром он задумывается над нюансировкой правописания русских ругательств.

– Это все, – поздравил я его со своим либерализмом. – Больше у меня никаких вопросов нет, текст идет в полной неприкосновенности.

– Прекрасно. Когда выйдет?

– В первом номере за восемьдесят восьмой год. Несколько экземпляров я вам пришлю.

– Да, спасибо, я хотел попросить, интересно все-таки. Где тут достанешь, ваш журнал как-то не доходит пока до нас.

И рассказы благополучно вышли, и еще на телефонный столик я поздравил его с первой, легка беда начало, публикацией на бывшей родине, и отправил пяток экземпляров, приложив к ним из тщеславия, узаконенного профессиональной этикой, собственную книжку,

снабдив ее надписью, составленной из всяких хороших слов, насчет читателя-почитателя и младшего последователя по эстонскому маршруту.

Дарение авторами своих книг сродни гордости курицы за собственноразно снесенное яйцо. Не бог весть какое достижение, зато лично мое, сказал полковник. Обычно тебе дарят, а ты думаешь, на кой черт, все равно читать незачем: сам бы никогда не купил. А не дарят – легкое унижение: обошли знаком почтения, вроде и не по чину на тебя, дурака, добро тратить. Когда мне говорят за мою книжку «спасибо», мне чудится фальшь ситуации: тоже, восьмитомник Шекспира с золотым обрезом. Я зря похаял редакторов: один меня поучил. Издательство у нас большое, сказал он, а квартира у меня маленькая, и я раз в год чищу библиотеку: выношу всякий дареный мусор на помойку. После этого я выкинул почти все дарственные книги, а последующие перестал носить в дом, выкидывая непосредственно по расставании с дарителем. Особенно мне памятно выкидывание в Бильбао: я подарил переводчику свою книжку, маленькую, легкую и хорошую, на понятном ему русском, а он мне – двухтомник своих переводов: огромный, тяжелый, из авторов, которых я и по-русски читать не стал, и на испанском. Час по сорокаградусному солнцепеку я таскал и проклинал эти два кирпича: их было некуда выкинуть. В Бильбао нет урн – баскские террористы любили подкладывать в них мины: на злоумышленника, пытающегося где-то оставить какой-то предмет, смотрят бдительно и враждебно. Я специально зашел в кафе, взял холодного вина, сосредоточенно листал, попивая, и еле смылся.

Присланную в ответ Довлатовым его книжку «Не только Бродский» я, в числе немногих раритетов, выкидывать не стал. Он переслал ее с оказией в пакете мелких благодарственных презентов редакции. Позднее выяснилось, это была не единственная форма реакции. Тогда я впервые и увидел швейцарский офицерский нож, который тут же принес пользу в открывании бутылок и нарезании колбасы.

Характер у меня легкий, зато рука тяжелая. В смысле наоборот. Как это по-русски?.. Сам себя не похвалишь – ходишь как оплеванный. Потому что Довлатова стали потом печатать в Союзе все наперебой. Конечно, после этого не означает вследствие этого, с юстиниановым правом мы тоже знакомились не по Гегелю, но кто-то должен был прокукарекать первым: рассветало с запада, вот уж кретинская метафора. После чего заохотили наперебой. «Иностранка» и «Звезда», «Октябрь» и «Литературка»; его классифицировали как блестящего писателя, одного из лучших писателей, лучшим писателем русского зарубежья в конце концов назвали. Одновременно лучшими были объявлены: Горенштейн, Войнович, Максимов, Севела, Тополь с Незнамским и Незнамский без Тополя, Аксенов, Лимонов, Владимов и примкнувший к ним Зиновьев... память слабеет, но кучка была могуча. Стране открывали ее героев, и каждый был самый.

Привычка грамотного человека к чтению часто есть форма мазохизма. Критика меня влечет. Одна из целей критики – заставить читателя усомниться в своих умственных способностях. Я усомнился и стал читать Довлатова и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами. Мне есть очень мало дела до всего вашего семейства, сказал Коменж. У всяк своя компания, чего читать, тут и свои друзья осточертели. Я уже читал в детстве такую книжку, она называлась «Где я был и что я видел». Где ты был, ничего ты не увидел, хрен с тобой. Дали боги дожить, и стало спартанцам не до чужих бед, своих хватит.

В числе многого, чего я лишен, мне не дано постичь прелесть и смысл салонной жизни. Убожество «внутрилитературной тематики» во вторичности предлагаемого к потреблению продукта: если литература – производная от жизни, то разговоры о ней – производная от литературы. Пресловутое «литературное общение» есть поза подмены деятельности суетой: казаться вместо быть; форма паразитирования при искусстве; род субкультуры для причастных к клану. Хотя также – способ устройства своих дел: маркетинг и реклама – тоже нужны... но надобно ж и разграничивать. Представьте Дон-Жуана проводящим ночи в попойках с друзьями за философскими обсуждениями женских подробностей и особенностей и подчеркива-

нием роли своей личности в мировой сексуальной революции, а по бабам ходящего в редкие просветы свободного времени и протрезвления. Вот и у пчелок с бабочками то же самое.

Хочешь писать – сиди пиши. Хочешь печататься – расшибайся в лепешку печатайся. А вот если кто хочет именно быть писателем – то есть выступать перед читателями, не ходить на службу, жить на гонорары, захаживать в редакции на чай и коньяк, ездить по миру, вести беседы в домах творчества, прокуренные ночи рассуждать с коллегами о проблемах литературы, небрежно доставать из кармана писательский билет – провались он пропадом со своей обгорелой тетрадкой и сушёной розой. Ущемленное самолюбие и знак причастности к литературному процессу. Пар в свисток – сублимация: почему же почему так обрезали ему.

Примерно такой оценкой творчества Довлатова, понижая голос, с опасливым недоумением, в светских выражениях, я поделился с его старинным другом Лурье. Лурье большой скептик. Особенно по части литературных репутаций. Он пессимист. Когда штат «Невы» сократят до одного человека, а помещение – до одного чулана, там будет сидеть Лурье, иронично блестя лысиной и очками, с язвительным обаянием врать по телефону, издеваться над завалившимися стол и стены рукописями и жаловаться на жизнь.

– Господи, да конечно все это полная ..., – радостно сказал Лурье. – Ну, сделали имя, играют в эти игры, сами, понимаете, в это несколько, конечно, не верят, а если кто и верит – так это уже просто полные .... Мы-то с вами прекрасно понимаем, что никакая это не литература, разная, понимаете, ... о своей жизни, так кто из нас не может бесконечно писать таких историй.

Опять же есть у кого остановиться в Нью-Йорке, выступить по «Свободе», получить за это какие-то доллары, – так надо ж быть свиньей, чтобы не отблагодарить человека. Заодно и оправдание командировки.

Но жизнь менялась стремительно, и литература менялась вместе с ней. Представления о литературе профессиональных критиков, как и полагается, менялись последними или не менялись вообще. И когда умный и образованный Вик. Ерофеев публично констатировал конец советской литературы – это было подхвачено, но не понято.

С литературы спали функции философии, социологии, журналистики, глашатайства, и чего угодно – как с самолета сбрасываются подвесные баки, и в измененной аэродинамике он теряет стабилизацию полета. Оказывается, подвесной бак составлял его большую и главную часть. Произошла литературная паника. Гвардейская королевская рота обнаружила себя голой. Она запела со святыми упокой литературе, на что хотелось утешить: умерла – закопаем.

Книг стало больше, а читать нечего. Фо хум хау. В круговороте крушения Империи русская литература тоже вступила в рыночную схватку между формой и содержанием, и этот базарный мордобой содержание выиграло безоговорочно. Это победа материала над отношением к нему автора. Руки над перчаткой. Победа безусловных фактов над условностью их изложения.

А ведь вся художественность формы – именно и есть авторское отношение. Хитромудрая композиция, пейзажные красоты и аллегории, извивы духовных бездн, стилистическая изысканность и философические размышления – понадобились читателю во вторую очередь, а большинству и вовсе не понадобились, ибо даже соловей, по справедливому замечанию классика, поет оттого, что жрать хочет. Ему возразили, что соловей хочет размножаться, на что был бездушный ответ, что не пожрешь – не размножишься. Когда читателю нечего жрать, он бросает размножаться, что мы и наблюдаем: это безусловные факты.

Рафинэ не в кайф сечь, что сочинительство, беллетристика, фикшен – еще не исчерпывает литературы и даже не является главным, основополагающим и исконным в ней. Основа прозы – факт. Основа поэзии – чувство. Великие события и великие чувства лежат в основе литературы. «Илиада» – это отчет художника об экспедиционной кампании героев. «Улисс» – это отчет художника об одном дне из жизни микроба. Джайс объемнее и эстетически богаче Гомера. Всем изошренным арсеналом наработанных средств литература въелась в маленького

человека: он тоже – глубок! интересен! велик! герой! Да: но тоже. Двести лет назад обращение к маленькому человеку и обыденному событию было открытием, поворотом, актом справедливости. Подзорную трубу повернули другим концом: какое богатство мелкой флоры и фауны! вот на каком уровне, оказывается, заложено бытие! И Акакий Акакиевич заслонил Вешего Олега, а чаепитие заглушило грохот сражений. Наступил новый этап.

На этом этапе литературе рекомендовали обыденность: персонажей и событий, чувств и языка. А в чем искусство? А в сознании тонкой системы многозначных условностей, в том вкусе и красоте изложения, которые базируются на овладении традицией.

Началось внутрисебясамопереваривание: в замкнутом ограничением пространстве предметом литературы стало развитие литературных средств. Что естественно привело к внутрисебясамопотреблению. Ах, как это написано: новое слово. Об чем слово-то, граждане? Белого Дракона все одно не переплюнешь.

Верните мяч в игру, вздохнул старый авантюрист. Вы можете конгениально и сверхискусно изображать теннис без мяча сколько угодно, но на Кубке Дэвиса вас не поймут. Это ваши личные игры в бисер.

Героев, стр-расти, простоту и сенсационный материал оставили масскультуре: ваш телескоп примитивен, у нас свой микроскоп.

То есть, как существует наука чистая и прикладная, образовались литература чистая и литература прикладная: одна для профессионалов, другая для всех потребителей.

А про чего всегда влекло человека узнавать? Великие герои и отъявленные злодеи, грандиозные катастрофы и необычайные приключения, любовь и преступление, тайны государства и тайны мироздания. Это стало достоянием массовой литературы. Но коммерческий успех книги об этом еще не свидетельство ее художественной неполноценности. В вину ей ставят: а) она привлекает своим материалом, а не художественностью; б) она вообще нехудожественна, т.е. арсенал средств изложения не оригинален и беден. Ты не из нашей корзинки, дешевка.

Говоря об истории литературы, наука признает шванк, фацетию, анекдот, хронику, сагу. Говоря о современной литературе, наука обязательным ее условием ставит выдуманность и соблюдение условных критериев «искусства». Не поступимся принципами. Тем хуже для «науки». Если можно таковой счесть критику. Об этой критике кратко и исчерпывающе сказал Денис Горелов. Жму ему руку через разделяющую нас госграницу.

Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно; в противном случае критика превращается в наглую самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса. Если вам нравится сентенция, получите и автора: доктор Йозеф Геббельс.

Где Трифионов? Где Рыбаков? Где Гроссман? Где Айтматов? Какие люди были, блин, какое время было, что ты. Дети, крепитесь, с вашим дядей Авелем произошло несчастье.

А бестселлерами с лотков идут справочники по оружию, флоту, авиации, танкам, что делать в постели и как нажить деньги, биографии великих, история по Гумилеву, война по Суворову и золото партии по Буничу. Ближе к жизни, ребята! По этой причине «Новый мир» печатал «Одлян» и «Желтых королей»: чего там в жизни делается? да скажите вы просто и внятно; а без вашего эстетического отношения к словесности мы обойдемся. Гений успеха Радзинский: книга об убиении царской семьи. Муза успеха Васильева: книга о «кремлевских женах».

Солженицын написал великую книгу – «Архипелаг „ГУЛАГ“». Все прочее им написанное не стоит выеденного яйца и стало никому не нужно и не интересно раньше, чем кончилось печататься. Шаламов был лучшим писателем, чем автор «Одного дня Ивана Денисовича». Из того, что «Архипелаг» не соответствует канону художественной литературы, явствует условность и ограниченность канона. Читателю, искусству и истории плевать на каноны. Они меняются.

И сейчас канон меняется на наших глазах. Обычное дело. Часть «масслитературы» канонизируется в «элитлитературу». Нормально. Подпитка. Высоцкий. Жванецкий. Живая жизнь. Тоже было: «низкий жанр».

Да что: Пикуль остался, и Штирлиц остался, и уже второе поколение читает и цитирует «фантастов» (низкий жанр!) Стругацких – и хоть бы одна зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леонове.

А театры плачут по зрителю и ставят «Филумену Мартуруано». Кто такая филумена? кому она что мартуруано? Поставьте пьесу, трагедию поставьте, про Героя Советского Союза Руцкого в разносимом танковыми пушками парламенте России! про превращение затурканного интеллигента в главвора страны! про карьеру искусствоведа на панели! Нет: на изюм получите педерастическую версию классики: шарман, шарман! Не хотите? Тогда Пинштейн из Мексики или как его там будет кормить народ мыльной оперой «Просто богатая рабыня» или как ее там: он бездарен и умен, а вы талантливы и глупы. А у народа потребности.

Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, а весь союз писателей по кочкам понесет? Фантастика – не литература, дамский роман – не литература, уж Теккерей забыт, а Шерлок Холмс им все детектив, а не литература. Им бы, умным, что-нибудь такое около эколо. Как в ересь, в неслыханную простоту, которая грешнее воровства. И вот с незамысловатым юмором автобиография конечно читается интересней все-таки Нарбиковой или Харитоновой с их онанистическими потугами на мудрую эдакость ни об чем и об всем на свете. Ну что ты, говорит, Левушка, конечно Довлатов лучше. Тут он трах ее дубиной по лбу! И с тех пор во всем полагался на ее литературное мнение.

И я положился на литературное мнение Довлатова, с которым меня эстетически, так сказать, примирил Вик. Ерофеев. В глазах коллег у Вика Ерофеева должны быть два гадских порока: он много знает и много понимает. А кто ж, батюшка мой, любит того, кто его умней. А поскольку знаменитость под пером собеседника предстает умной в меру разумения этого самого собеседника, то в «Огоньке» в беседе с Виком Ерофеевым в рубрике «Поверх барьеров» Довлатов предстал умным, а также честным и невеселым.

– Я свое место знаю, – сказал усталый и битый Довлатов. – Я – эмигрантский русский писатель в Америке; не из первых; но и не из последних. Где-то посередине. Есть высший класс в литературе – это сочинительство: создание новых, собственных миров и героев. И есть еще класс как бы попроще, пониже сортом – описательство, рассказывание – того, что было в жизни. Вот писателем в первом смысле я никогда не был – я бы назвал себя рассказчиком.

Это было сказано с достоинством и скромно. Слава уже пришла.

Я ожидал услышать (прочесть) иной ответ. И впервые ощутил к нему нотку печальной любви. Я был тогда стопроцентно согласен с такой самооценкой. А сейчас согласен чуть больше – в сторону увеличения. Мне это понравилось до чрезвычайности.

Я хранил эту любовь года два. Особенно она увеличилась, когда Довлатов уже ушел... Пока однажды зимой не позвонил из Ленинграда приятель с радостной новостью:

– Здорово. Как живешь?

– Ага. Сегодня я тоже подстригал мои розы.

– Тут, значит, выходит у нас такая многотиражка, «Петербургский литератор».

– Слышал. Так что?

– Вот тут у меня последний номер... Не видел?

– Откуда.

– Весь посвящен Довлатову. Разные там его письма, воспоминания о нем и прочая муть.

– Ну.

– Про тебя тут тоже есть.

– Забавно. Польщен. В связи с чем, собственно?

– Хочешь послушать? Сейчас... Вот:

«Что делается с сов. литературой? У нас тут прогремел некий М. Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. Я купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: „Он пах духами“ (вместо „пахнул“), „продляет“ (вместо „продлевает“), „Трубка, коя в лавке стоит 30 рублей, и так далее“ (вместо „коия“, а еще лучше – „которая“), „снизошел со своего Олимпа“ (вместо „снизошел до“). Что это значит? Куда ты смотришь?..  
= *Ваш С. Довлатов*».

– Что скажешь? – спросил приятель.

– Экая скотина был покойник, – сказал я.

– Письма к Арьеву.

– Лучше бы он купил себе словарь.

– А зачем? Так интереснее. Да послушай соседний абзац:

«Посылаю тебе две копии – во-первых, из хвастовства, а во-вторых (я как-то отвлекся и ушел в сторону) – как материал для твоей обо мне заметки, коя меня заранее радует...» Вот тебе твоя коя трубка и его коя заметка. Вы вообще знакомы были? Ты ему что, чем-то насолил?

К тому времени господин Мольер имел полную возможность убедиться, что слава выглядит совсем не так, как ее обычно себе представляют, а выражается преимущественно в безудержной ругани на всех углах.

– Насолил... – сказал я, скрывая огорчение. – Первым напечатал в «Радуге».

– А. Так тогда понятно, что ж ты хочешь. Ни одно доброе дело не бывает безнаказанным.

Про «Радугу» тут тоже есть... в соседнем письме:

«У меня есть ощущение, и даже уверенность, что в СССР скоро начнут печатать эмигрантов... – так, – Я ждал 25 лет, готов ждать еще... – Вот: – Но если да, то возникают (уже возникли, например, в таллиннской „Радуге“) проблемы». Что за проблемы-то?

– Правописание слова «гондон», – сказал я. – Интересно, там даты нет на письме?

– Про «Радугу» – 2-е декабря 88-го года.

– Ощущение и уверенность у него возникли после моего звонка, что мы его в первом номере печатаем.

– Информация – основа интуиции.

– А про трубку?

– Минутку... 13-е мая 89-го.

– Покупатель. Книгу он купил. Библиофил. Эту книгу я ему сам послал.

– Поздравляю, – сказал приятель. – На хрена?

– Да вместе с журналами, где были его рассказы.

– А вот меньше надо выпендриваться и раздаривать свои книги. Он ведь хотел получить напечатанными свои рассказы, а вовсе не твои.

Подобный неожиданный привет из другого измерения может на полчаса подорвать веру в людей, если у кого есть вера в людей. Я вытащил с полки «Не только Бродского» и прочитал: «Михаилу Веллеру с уважением и благодарностью. С. Довлатов. 2/5/89. Нью-Йорк».

Летом в Ленинграде я позвонил Арьеву. Мы не были знакомы. Таким образом, нас познакомил Довлатов. Не могу сказать, с какой целью я звонил. Тем более этого понять не мог Арьев.

– Вы хотите напечатать опровержение? – спросил он.

У меня все-таки хватило ума ответить:

– Упаси меня Боже дискутировать с умершим. Просто я вижу сомнительную ему услугу в публикации этого письма.

– Понимаете, у него иногда было довольно своеобразное чувство юмора, – объяснил Арьев мягко. – Здесь содержится такая некая ирония.

– Я попытаюсь понять, – пообещал я. Ирония – оно конечно.

Арьев оказался приятным и скромным человеком и наблюдательным критиком. Из одной его статьи я узнал, что в сочинениях Довлатова все слова во фразе обязательно начинаются с разных букв. И никогда еще ни один литературовед не делал замечания более верного. Можете проверить. Я не знаю, какой смысл в этой особенности, но за ней, видимо, таится большая скрытая работа, являя посвященному за внешней простотой свидетельство настоящего искусства. Правда, все фразы очень короткие.

Если обратиться к литературным аналогиям, это более всего напоминает искусство лейтенанта Шайскопфа из «Уловки-22». Огромной и скрытой работой он добился от кадет своей роты церемониального шага с руками, неподвижно прижатыми к бокам. И когда на параде изумленное невиданным зрелищем командование вопросительно воззрилось на Шайскопфа, он звенящим от торжества голосом известил:

– Смотрите, полковник! Они не машут руками!

Продолжение этой истории одной лошади было вполне в духе довлатовских произведений. Годом спустя я обсуждал с художником оформление книжки «Легенды Невского проспекта».

– На заднюю сторону обложки дадим выброски, – решил художник. Он любил и умел делать прекрасные гравюры на заглавие, в общем самоценные, а в остальном предпочитал идти по кратчайшей линии наименьшего сопротивления. И подкрепил позицию заботой о моей пользе: – Книга должна выглядеть рекламисто. У тебя есть всякие там рецензии о тебе?

Он унес папку с вырезками и через неделю ознакомил меня с эскизом.

Верхняя из четырех беспощадных цитат гласила:

«У нас тут прогремел М. Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. – С. Довлатов. Нью-Йорк». Угадайте, чья фамилия была обведена скорбной рамочкой.

– Ну как? – довольно спросил он.

– Слушай, – сказал я, – там, вроде, было еще одно слово, в оригинале. Дай-ка поглядеть... вот: «некий М. Веллер».

– Не просто чекой, – сказал художник. – Я понимаю. Вышеупомянутой чекой. Отзынь. Мы не в армии, ты не сержант.

Художники требуют подхода. Я налил и рассказал историю.

Художник выслушал историю и пришел в негодование.

– Что значит – «некий»? Ху из ху! Какого хрена? Во-первых, он отлично знал, кто некий, а кто какой. Во-вторых, справедливость должна торжествовать. В-третьих, Довлатов тоже ленинградец, на ленинградской книге это очень уместно: я долго думал. В-четвертых, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Отходы – в производство. В-пятых, он бы оценил, я думаю, изящество ситуации.

Он задумался и заржал. За пределами искусства все художники циники.

Я тоже задумался, но ржать не стал. Я люблю циников. Я сам циник. А циники сентиментальны.

Меня вдруг, что называется, пронзила печаль. Я представил ощущения Довлатова, писавшего это письмо. Чужой в Америке. Без языка. Эмигрантский круг. Признание на родине еще не пришло. А кто-то, моложе, приехал после него из того же Ленинграда в тот же Таллинн, и издал книги, печатается, принят в СП, удачливый ловкач, и звонит ему в Нью-Йорк, и публикует его в таллиннском журнале, и пьет с его бывшими друзьями, откуда взялся, стал там своим, и посылает свою книжку, вышедшую в издательстве, где двенадцать лет назад, в прошлой неудавшейся жизни, должны были издать его... – так мало того, еще и в Нью-Йорке, в его теперешних кругах, этот самый еще и чего-то прогремел... Все мы все понимаем, а все-таки горько бывает, господа...

О покойниках – правду или ничего. Если кто что-то значил в твоей жизни, ты продолжаешь относиться к нему как к живому, просто отсутствующему. Продолжаешь говорить о

нем как и раньше, и шутить, и разговаривать с ним, и спорить. Только он уже не скажет тебе ничего нового. Поэтому оставлять за собой последнее слово в споре с тем, кто уже не сможет возразить, нехорошо.

Черт. Я оставил за собой последнее слово. И ржать мне тут было нечего.

Но я зря так надеялся. Случай оказался не тот. У меня был когда-то рассказ, где покойник на похоронах последнее слово оставляет за собой.

И тут ведь последнее слово осталось за ним!

Говорю недавно по телефону с Генисом. Лотман-Букер, Таллинн-Нью-Йорк, ля-ля – шарк-шарк, общие знакомые: узкий круг и тонкий слой. Довлатов!

– Мы с Сережей были близкие друзья.

– Вот как.

– Он мне о вас говорил. Очень высоко отзывался.

– Гм? Не знал.

– Да, причем чтобы Довлатов, который очень редко, почти никогда не отзывался хорошо о прочитанных вещах, знаете...

– М-угу...

– А вы не читали, в газете «Литератор» опубликовано его письмо Дару? он вас там очень хвалит, просто очень.

– Дару? – опасливо переспросил я. – Нет... не знаю. Я знаю было опубликовано письмо Арьеву, где он обо мне упоминал.

– Нет, Дару. Вы знаете, есть такой – Дар?

– М-м, слышал, конечно.

– И вот там, в «Литераторе»...

– В каком «Литераторе»? Есть «Петербургский литератор» (если он еще выходит, они ведь в Питере погорели всем домом), был «Московский литератор»...

Мою реакцию на сообщение можно было назвать непритворной заинтересованностью.

– Ей-Богу точнее не помню, мне недавно привезли из России чемодан литературы, еще не все в картотеке рассортировано.

Слышимость с Нью-Йорком отличная, но вразумительности не прибавляла: я подозревал игру в испорченный телефон. Уточнил:

– Давно это было?

– Н-не помню точно...

– Года два назад?

– Не-ет. Месяца два-три.

Такие дела. Я тщился уяснить: новый поворот, мотор не ревет... еле лапками колышет: сдох. Свет погасшей звезды. Клевещешь, Перси, на него: клеветать! Но представляю мнение Гениса о моем взыгравшем тщеславии после этого занудства.

На этой новости мы и распрощались, два иностранца, два русских литератора еврейской национальности и нероссийского местожительства.

– Тере-тере, – сказал он.

– Бай-бай, – сказал я.

Иностранцем становишься постепенно.

Постепенно перестаешь обращать внимание на мелочи: что автобусы почище и в них не толкаются, что улицу переходят только на зеленый, что при этом идущая с поворота машина всегда тебя пропускает, а давая тебе дорогу на «зебре» тормозит трамвай, что все спокойные и нигде не лезут без очереди; привыкаешь в такси здороваться с шофером, привыкаешь к сдержанности общения и к пунктуальности встреч, что новогодние елки ставят чуть раньше, на римское Рождество, с ним можно поздравить, сделать подарок; привыкаешь к климату: погода

бывает разная; привыкаешь, что в гостях не кормят обедом, что часто слышишь нерусскую речь, что вместо таблички «переучет» – «инвентура».

Как привыкаешь к новой моде, и вот она уже естественна глазу, естественны пограничники и таможенники в поезде и аэропорту – обычные люди за мелкой процедурой, как автобусные ревизоры; естественно постоять за визой (раньше было – за водкой, за хлебом, за носками, какая разница), зато в очереди за билетами стоять не надо, чисто и свободно. Естественно, что время идет, и далекие друзья приезжают к тебе все реже, и язык местных русских газет становится понемногу провинциальным, а российские газеты есть в киосках не всегда, редко, иногда. Сокращается время телевидения, долго поговаривают об отключении, ну нет уже петербургского канала, и российский исчез, остался останкинский по вечерам; к приему финского телевидения привык давно, а здесь появляются новые каналы, гонят в основном американские сериалы, и в их звуковом фоне начинаешь различать, понимать американскую речь, а эстонская обычна; что с того.

Какая, в сущности, разница, что деньги считаешь на кроны, уже не сбиваясь по инерции назвать их рублями, что переезжаешь на финские йогурты, датское пиво и американские сигареты: тот же пейзаж за окном, те же люди, разве что машины меняются, так это везде так. Однажды замечаешь, что перестал выносить мусорное ведро: весь мусор спихивается в яркий пластиковый пакет из-под очередной покупки, и сам этот мусор нарядный и пестрый: баночки, коробочки, бутылочки, не имеющие ничего общего с когдатшними помоями. Замечаешь при очередных российских катаклизмах свое приятное ощущение безопасной непричастности: твоей семьи это не касается, тебе лично не грозит. На Рождество получаешь стандартное поздравление Президента Республики, на четырех языках, русского нет, нет в документах и на вывесках. Хлопаешь шампанским под звон новогодних курантов Кремля в телике, звонишь родным и друзьям в заграницы с пожеланиями, а здесь еще только одиннадцать, и через час хлопаешь еще раз, по местному времени, и звонишь в Белоруссии и Израили, там время то же.

Ты просто живешь здесь, а мог бы жить в другом месте, что из того; внутри тебя ничего не меняется: человек есмь; страсти, мысли, убеждения, привязанности и интересы – все прежнее... Хау! мы с вами одной крови – вы и я.

Россия – остается своей: ты приезжаешь – здорово, ребята! Смотришь в лица, прочее мелочи. И по дороге от лица до лица – шизеешь: от грязи и бьющей в глаза, нерадивой и бесстыдной нищеты, естественной окружающим: от обшарпанных прилавков, вонючих лестниц, колдобистого асфальта; от дебильной медлительности кассирш и неприязни продавцов, от грубости равнодушия и простоты жульничества, агрессивной ауры толпы, где каждый собран за себя постоять, туземной раздрызганности упресованного телами транспорта, нежилой неуютности кабинетов и коридоров, от неряшливой дискомфортности редких кафе и убогой пустоты аптек. Таксист хам, редактор враль, слово не держится, в метро духотища, водка отравка, вязким испарением прослоена атмосфера, тягучий налет серости на всем, и от этой вселенской неустроенности устаешь: сам процесс жизни делается тебе труден неизвестно отчего.

Вдруг замечаешь, что ты не так одет: неглядящиеся штаны и рубашки вольных европейцев, интеллектуалов и профессуры, неуместны среди двубортных костюмов старших банковских клерков, словно ты фрондируешь из бедности, а съют при галстукке не вписывается меж растянутых свитеров и несвежих клетчатых рубашек. Не понимаешь выражения глаз и голоса при официальном знакомстве: тебя изучают, оценивают и взвешивают, чтобы избрать стиль общения согласно твоему положению: единой и равной для всех дистанции официального общения не существует, а ошибочная нелепа. Не готов к тому, что желание выпить по рюмке обычно переходит в намерение неукоснительно прикончить бутылку и взять следующую.

И вдруг обнаруживаешь в себе остранный и отстраненный независимость: ребята, я уже не здешний. Я уже живу за границей. Достоинство и отрада свободы – мягкая улыбка: я ни

от кого ничего не хочу, мне ни от кого ничего не надо, я – вне, отдельный: я даже нетвердо знаю, что тут у вас происходит и по каким правилам на какие ставки вы играете. Обнимаю, искренне ваш.

И не просто хочешь домой: нет, в основном тебе здесь нравится, интересно, здесь твои друзья, здесь решаются дела и судьбы, здесь кипит жизнь – это, вроде, и твоя тоже настоящая жизнь, впечатления, события, новости, знакомства, планы, все это хорошо, – но при этом одновременно хочется жить дома. Там. И не то чтоб там лучше – нет, там никак, скучно, духовно пусто, одиноко, привычно, нормально: как раньше, как обычно; как всегда. Чуждо. И кажется, будто там для тебя внутренне ничего не изменилось, и будто сам ты внутренне не изменился, – но и здесь чуждо! тяжело; неприятно; непривычно; зависимо. Не твое. Ты был отсюда. Но ты уже не отсюда.

Россия, в которой жил, живет в твоём естестве той, неизменной, живет в рефлексах и ментальности, и по песчинке исподволь меняется вместе с твоей памятью и тобою самим. А настоящая Россия меняется реально. Ты следишь за событиями, переживаешь их умом и нервами – но не шкурой. Ты дышишь другим воздухом. И ты замучишься входить в эту воду дважды.

И Ганнопольскому в «Эхе Москвы» на вопрос: ну, как тебе Москва? я мог ответить честно только одно: ребята, в этой сверхгигантской куче дерьма оскорбительно и непереносимо все. Кроме одного: но! ребята, вы все здесь...

И давно мне напоминает эта грустная метаморфоза гениальный среди прочих рассказ Брэдбери «Были они смуглые и золотоглазые». Как колонисты на Марсе постепенно и незаметно для себя превращаются в марсиан, и уже удивленно не принимают прибывших землян, а те ломают головы, где ж колонисты и откуда ж эти марсиане. Метафора эмиграции. Особенно применимая сейчас к русским, безо всяких волевых и сознательных шагов и подготовки оказавшимся в «ближнем зарубежье». Для себя я называю его «межграницье».

«Межграницье» – так я назвал телефильм, который сделал в январе девяносто второго, сразу после распада Союза. О наступившей, сразу еще не осознанной трагедии русских, вдруг проснувшихся иностранцами за границами России, чужими и там и здесь. Фильм не был принят. Прогрессивное Останкино сочло, что он играет на руку красно-коричневому.

Забавно, что сообщил мне это тот самый босс, который раньше устроил показ ленты «Русские в Америке». Фильм отображал жизнь этих мятущихся русских в этой стране контрастов Америке преимущественно двумя красками, белой и черной. Как предписывает производству искусства закон драматизма, преобладала черная краска. Там одни радовались свободе и бизнесу, таких было меньшинство, а большинство страдало от бездуховности жизни и ненужности русской культуры, носителями которой оно является. Я с замиранием ждал, что здесь обязан возникнуть Довлатов. И наконец – впервые увидел его: не на фотографиях, а так сказать, в движущемся и озвученном изображении. Это не была сцена довольства и успеха. Довлатов был большой, бородатый, низколобый и добродушно-мрачный. Его облик, скупой жест, интонации, внакладку на какой-то серо-бытовой фон, вполне создавали впечатление скептической разuverенности во вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне: картина выглядела пессимистично и должна была, видимо, служить мысли, что писателю в Америку ехать не надо.

Но как для России московская прописка всегда была чем-то вроде знака причастности к касте, или качества, или социального статуса (как в самой Москве можно жить, скажем, на Кутузовском, а можно в Чертаново) – так потом в России, и в Москве, американская прописка (в меньшей степени немецкая или французская, но теперь даже израильская) стала тем же свидетельством социального положения. Мол, каков шесток, таков и сверчок. Хотя давно известно: что в России наилучше всего быть иностранцем. Он живет в Америке? – о, значит, этот человек уже чего-то стоит.

Сей трафаретный взгляд не лишен здравого зерна: успех – это ведь место и время, ясно... Куда направлены прожектора, где вершатся главные дела и главные карьеры – там цена всего автоматически повышается: и цена человека, и цена слова, и цена поступка – в глазах тех в первую очередь, кто сам не там. Ультима регис: «Так делают в Париже!» А ежли кто живет на помойке – значит, по его качествам и стремлениям там ему и место: чего ж он стоит, чего ж от него и ждать. География – наука психологическая. Твое место возле параша? исчерпывающая характеристика.

Сравнение позорное и унижительное: Россия сейчас перемешана гигантской помойкой в сепараторе, где активные элементы с легкой фракцией, сливками и дерьмом, смываются в Америку. Она – значимее. Средняком в Риме, чем патрицием в деревне. Кто раз ощутил себя гражданином великой державы – не будет счастлив в принадлежности к державе второстепенной. Раз человек не остров, а часть материка, то материк должен быть приличный. Не сам по себе, но часть семьи, рода, стаи, команды, армии, страны, и сила и честь страны – его сила и честь. Я римский гражданин!

Топот и стук: пробивают головами стенку в соседнюю камеру. Там пайка больше и прохаря новее: и закон. Правильная хата.

Кому повем мою печаль? Для умного человека все истины банальны. А для себя кто ж не умен настолько, чтоб доказывать их прочим, чьи умственные способности не то чтоб презираешь, но затрудняешься заметить невооруженным глазом, и каковое занятие сродни газетной работе и каторжному развлечению по пересыпанию кучек земли по кругу. Что провоцирует развитие нервных заболеваний.

Поэтому пьют читатели, и поэтому пьют журналисты. Писатели пьют еще и от отсутствия читателей. В питейной биографии Довлатова самое радостное, кажется, место – судя по письмам – это когда в Вене он обнаружил, что ректифицированный медицинский спирт можно купить в аптеке за одиннадцать пфеннингов пятьдесят грамм. Что есть литр водки за шиллинг. Под вопросом, учат ли в австрийских школах арифметике. Тупые австрияки не высчитали этого до сих пор.

В этом удивлении – отличие того, кто становится иностранцем сразу, прыгая с берега в воду, от того, кто делается им постепенно: сыровато, влажно, еще мокрее, и вот ты уже ни рыба ни мясо, а так, земноводное. На полпути к Луне.

Вышеупомянутыми соображениями мы и поделились с вымытой по частям холодной водой копенгагенской москвичкой, которой благородный дон, за неимением ируканских ковров, показал швейцарский офицерский нож, присовокупив мнение, что очаровавший ее знаменитый Кабаков такого просто не видел.

Этот ножик я всегда беру с собой в поездки. В его рукоятке упрятано все необходимое для застолья и мелкого ремонта всякой всячины. Даже закаленная пилка с обратным ходом, которой можно будет перепилить наручники, когда меня арестуют за нарушение всех норм литературных приличий и вообще нравственности.

Именно им я и нацелился резать закуску в кабинете главного редактора «Московских новостей», когда появился именно Кабаков. Первым делом я ткнул пальцем в нож и процитировал известное место из «Сочинителя». Кабаков извернулся красиво. Он вытащил из кармана точно такой же и положил рядом.

– Для пары, – сказал он. – На память от меня.

Тем самым он убедительно возразил, что ему таки известно, как выглядит швейцарский офицерский нож. Только этот был сделан не в Китае, но именно в Швейцарии. Не такой попался мальчик, чтоб таскать в карманах дешевку.

– Это нельзя рассматривать иначе как повод, причем уважительный, – сказал он. – Есть предложение начать пить.

Но пить мы начали позже, и за литром кукурузного самогона обсудили не только сравнительные достоинства и характеристики карманных ножей, но и ценные особенности прочего холодного и огнестрельного оружия, обнаружив массу общих пристрастий и интересов. Писатель, оружие и пузырь – перспективное сочетание.

Это был чистый реваншизм. В советское время интеллигенту и гуманисту полагалось считать, что оружие – нечто безусловно плохое, любят его трусы, негодяи и люди вообще порочные. Хотя по этой логике армия должна быть последним прибежищем трусливых негодяев – одновременно идеалом человека провозглашался солдат, а вершиной любви – любовь Дзержинского к маузеру. Отрицая Дзержинского, вольнодумец плевал в маузер. Человек звучал гордо. Обезьяна, вставшая на задние лапы, взяла в передние палку совсем не для того, чтобы ею подтолкнуть марксиста Энгельса к созданию истмата. С тех пор оружие явилось естественным продолжением мужской руки, и по этим рукам призывалось дать, и крепко дать. Достать чернил и плакать. Где господствует мораль – там нет места истине. К несчастью или к счастью, но щек на свете меньше, чем желающих врезать по ним дважды. Поэтому естественная и природная функция любого нормального мужчины – защищать себя, свою семью и дом. От кого? Была бы шея, а любитель по ней дать всегда найдется. Почему? Потому что человек создан изменять мир, и никогда не удовлетворится существующим. Агрессивность – это аспект избыточной энергии, имманентной в человеке, благодаря которой он и переделывает мир. Хапок, захват, сражение – простейшая форма передела мира. Оружие – инструмент передела: инструмент жизни. Это сила власть: самоутверждение: я хозяин жизни, я переделываю ее по своей воле и разумению, я действую – и значит я живу. Не говоря уж проще о разных критических, пограничных ситуациях, когда оружие решает вопрос самого твоего существования (а честь? а достоинство? а справедливость?..).

Поэтому джигит может быть оборванец, но чтоб оружие в серебре. И коллекции оружия всех эпох – тому подтверждение.

Оденьте матадора в тренировочный костюм и дайте ему в руки колун – что скажут испанцы о моменте истины?

Один даст съесть пуд соли – другой возьмет в разведку. Человек познается в пограничной ситуации: на пределе опасности и напряжения. И неизбежно – стремится к ним: реализовать все заложенные в нем силы и возможности. Где ж жизнь острее, чем в бою, и мрачной бездны на краю.

Поэтому военные и блатные песни Высоцкого. Адекватный материал: накал и риск борьбы на грани смерти – обнажение сути.

Поэтому трещит, бомбит, взрывается голливудское муви.

Поэтому грохочут кольты и базуки у Кабакова, а московские девушки у Пелевина рассуждают о калибре авиапушек люфтваффе.

Писатель, авантюрист в накале нервов и вершения миров за своим столом, влеком инфернальной красотой оружия как знаком сильной страсти, решительных поступков, крупных событий: всемогущества и крутизны в своем воображаемом, созданном мире.

Естественная сублимация. Без нужды не обнажай, без славы не вкладывай.

И когда в Эстонии сделали свободную продажу оружия, я сверился с любимыми справочниками, выправил справку, что я не псих, и справку, что был охотником и умею стрелять, и пошел в магазины покупать «Гризли». Это .45 кольтовская машина под патрон «винчестер-магнум», которая должна выкидывать нежелательного посетителя обратно на лестницу прямо сквозь дверь. Хотя вдвое дешевле обходился несравненно безотказный «Вальтер ПП», 9 мм которого вполне достаточно, чтоб устроить любой сборной по карате прослушивание Шопена лежа.

Хотелось пощелкать пистолетом и пострелять, но я был безоружен и нетрезв, а Кабаков подписывал номер: здесь с легким креном мы подошли к концу забористого бурбона «Катти

Сарк», Нэн – короткой рубашки, с непревзойденной в истории скоростью парусника гонявшей через ревущие сороковые, свист и пена, в ту самую Австралию, откуда теперь тоже приходят письма от старых друзей, где тоже переводят с русского и платят деньги за чтение лекций по современной русской прозе. Боги, боги мои.

- А ведь я хотел уехать в Австралию, Бисмарк.
- Глупости, Мольтке! Что б вы делали в Австралии?
- Разводил бы. Розы.
- Зачем?!
- На продажу...
- Ерунда! Там не растут розы.
- А что там растет?
- Овцы.
- Ну, разводил бы овец...
- Зачем?!
- На продажу...

В самолете австралийской линии я наслаждался мемуарами Бунюэля. Чтобы в двадцать седьмом году сделать «Андалузского щенка», надо быть действительно гением; это вам не Бергман. Когда в восемьдесят втором этот фильм демонстрировался в Доме кино, то на аннальном кадре, крупным планом бритва половинит глаз, в зале раздался вскрик и звук упавшего тела. Нервный вскрик и тяжелое тело принадлежали одному из лучших довлатовских друзей Евгению Рейну. Ку дэ мэтр!

А лучшее место в мемуарах Бунюэля – это как он читал мемуары Дали. Закадычные земляки, они решительно разошлись после знакомства с Гала. Она предпочла Дали, а Дали предпочел ее, Бунюэль же сам хотел предпочесть их обоим, в чем ему было отказано.

Объективность и такт не числились среди достоинств Дали и не входили в его задачи. Бунюэль ознакомился в мемуарах, среди прочего интересного, кое с чем о себе: и несколько огорчился. Он огорчился, снял телефонную трубку и позвонил Дали, который в это время был в Париже.

- Здравствуй, Сальваторе, – сказал он. – Это я, Луис.
- Здравствуй, Луис, – ничуть не удивившись, сказал Дали. – Очень рад тебя слышать.
- Я подумал, почему бы нам не встретиться.
- Действительно, хорошо было бы встретиться.
- Почему бы нам не посидеть, не выпить вина...
- Это было бы прекрасно, Луис...

И вот, двадцать лет не видевшись, знаменитый Бунюэль и еще более знаменитый Дали встречаются в кафе. Они обнимаются, вздыхают, сколько лет сколько зим, печально и любовно оглядывают друг друга: садятся под тентом на бульваре, Париж, пьют белое вино, курят; вспоминают молодость, говорят о жизни и об искусстве. И наконец Бунюэль приступает:

– Сальваторе... Я тут недавно прочитал твои мемуары. Прекрасная книга. Замечательная! Я получил наслаждение. Но, признаюсь, хочу спросить тебя, все-таки мы с тобой старые друзья, вместе когда-то начинали, вместе бедствовали... скажи – ведь это ни по сюжету необходимо, ни смысловой нагрузки... не улавливается: зачем тебе нужно было так меня обосрать? Это так обязательно? или тебе было приятно? не могу поверить...

На что Дали глотнул вина, затянулся сигарой, напустил дым, подкрутил иголки своих золоченых усов, и с нежностью ответил:

– Луис! Ты ведь понимаешь, что эту книгу я написал, чтобы возвести на пьедестал себя. А не тебя.

Золотые слова. Есть у меня раздражающая привычка выражать простую мысль заходом столь дальним, как стратегический бомбер за 200 км входит в посадочную глиссаду, целясь на

полосу. На прудах колышутся нениюфаны, потому что пишутся мемуары. Эту мартьяновскую строчку я понял, только прочитав Ростана, как там нениюфаны распускаются в темной глубине – а всплывают уже являя себя благоуханными и белоснежными: поэты, значит, так же. И тут я – весь в белом. Насчет благоуханных и белоснежных никто сейчас не уверен, конечно, – некоторые наоборот долго там в глубине себя барахтаются, чтоб всплыть готовой кашкой, дабы привлечь внимание почтеннейшей публики резким контрастом цвета и запаха среди оных лилий. Лютики-цветочки. Не ходи в наш садик, очаровашечка. Каждый пишет как он слышит. Медведь те на ухо. О время мое, украшают тебя мемуары, как янычары пашу: я не хочу писать мемуары, но фактически я их пишу. Соло для фагота без ан сам бля.

Эти стихи я пытался переводить старому немцу, с которым мы на аэродроме в Сиднее сидели и на кофе налегали. Немец был мудр, самовлюблен и прожорлив. Ему нравилось обобщать.

– Трагикомизм нашего положения в том, – пожаловался он, – что мы добиваемся признания в глазах людей, чье мнение презираем.

И понес строить:

– Поскольку мы имеем дело не с предметами, а с нашими представлениями о них, всякая честная философия неизбежно должна быть идеалистической!

– И реализм в литературе – на деле идеализм без берегов?

– Натюрлих!

Я чувствовал, что тупею. Потому и попытался переключить разговор на более знакомый предмет русской литературы.

– Я читал Довлатова, – сообщил немец и в испуге уставился на мое лицо.

Спас меня подоспевший Мишка Вайскопф. С опозданием на три часа он все-таки приехал меня встречать. Однажды в Таллинне я встретил его с рижским поездом, и через три дня он приехал из Киева. Он перепутал направления и потерял паспорт, а деньги у него украли. На него нельзя сердиться. В семьдесят третьем году он пошел добровольцем на израильско-арабскую войну, и угодил под трибунал за путаницу в документах и утерю личного оружия в общественном транспорте. Я его люблю. В Сиднее он спас меня от инфаркта.

– А ты знаешь, что Борька Фрейдин тоже здесь? – первым делом сообщил он, трогая машину. – В компьютерной фирме работает.

За окном мелькал зелено-белый пейзаж: слепил.

– Так далеко от Таллинна, а вполне приличный город, – сказал я. – Не скучно?

– Ты что, – оживился Мишка. – Я тут недавно вернулся из Новой Зеландии, так вот это глушь, я тебе доложу. Вообще необразишь, за каким краем света находишься: ясно только, что вверх ногами ко всему прочему человечеству. Ужас: одни бараны пасут других баранов. А у дверей, снаружи, так просто приделаны поручни, как на танковой башне: держаться, когда ураганы: чтоб, значит, на хрен не сдуло. В окружающий Мировой Океан. А тут-то еще – что ты, цивилизация.

– Господи. За каким хреном тебя туда еще занесло?

– Лекции читал. Месяц.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.